Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Красноармеец Краснофлотец

20 год издания | № 10 | МАЙ 1938

двухнедельный литературно-художественный журнал

Институт литературы ЦИК СССР.

НАРОДЫ — ВОЖДЮ

Вл. ХАРЬЮЗОВ

Тому, кто навеки
Останется с нами,
Кто нам заменяет отца,
Чья правда не меркнет,
Чье слово, как пламя,
К борьбе зажигает сердца;
Кому мы обязаны
Жизнью богатой,
Кто поднял в пустынях сады;
Кто вырастил нас
Поколеньем крылатым,
Кто юными сделал седых;
Кто учит победно
С врагами сражаться,
Не знать отступлений в бою;
Тому, кто нам дал
Конституцию счастья,
Мы жизнь доверяем свою.
— Мы первым избрали
Тебя депутатом,
Наш вождь,
наш учитель,
наш друг.
Ты нас закалял
На суровых этапах
Борьбы,
поднимая наш дух.
Тобою воспитаны
Знатные люди.
Народ только тех изберет,
Кто партию любит,
Кто родину любит,
Кто жизнь
отдает за народ.
Веди же нас к новым
Боям и победам.
Ты с нами — и нам не страшны
Ни трудности стройки,
Ни черные беды
Ползущей проклятой войны.
Стоят на ходу боевые машины.
Отдаст приказанье полкам
Наш маршал народный —
Родной Ворошилов,—
И плохо придется врагам
На Запад, на Юг,
К рубежам ли Востока,—
Готова страны молодежь.
— Ты — с нами,
Ты — рядом,
Ты локоть о локоть
С полками
незримо пойдешь.
Веди же нас к новым,
Последним этапам
Борьбы,
закаляя наш дух.
Мы первым избрали
Тебя депутатом,
Великий учитель и друг.

С. МАЛАШКИН

ГЕРОИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Рис. С. Зелихмана

— Товарищ командир, эскадроны отошли в порядке... — доложил Сидоренко.

— Да, — не поднимая глаз от бумаг, лежавших на столе, отозвался командир кавполка Трунов, — сейчас выезжаем и мы...

Через десять минут Трунов и Сидоренко вышли из ревкома, сели на коней и поскакали.

На востоке обозначилась бледно-розовая полоска. Когда они догнали кавполк, полоска стала шире и приняла уже более яркий — малиновый цвет. Поднимая пыль, кавполк шел по проселочной дороге. Вдали серебрилась река. Над водой курчавились сизые барашки тумана. Воздух был насыщен тонким медовым запахом цветущих садов: природе не было никакого дела до войны, она жила своей чудесной жизнью. Сидоренко вспомнил родную станицу, старушку-мать, сестер, и ему стало не по себе, — тоска, как клещами, стиснула сердце.

«Да и живы ли мать, сестры? Может быть, беляки их давно растерзали?—Он горько улыбнулся, почесал за ухом.— Эх, не к лицу молодцу печалиться!»

Сидоренко взглянул на командира. Он ехал понуро на своем дончаке.

«Что с ним? Не заболел ли?» — забеспокоился Сидоренко.

Командир, как бы угадывая мысли своего ординарца, оглянулся, позвал:

— Василий!

Сидоренко подъехал. Мрачное настроение командира передалось и ему.

— Я, товарищ командир.

— Где списки людей отряда?

— У вас, товарищ командир.

— У меня их нету.

— Как нету?.. Не может быть, товарищ командир!.. Вы взяли их у меня еще в ревкоме.

— Значит, они остались в столе...— Лицо Трунова побледнело, осунулось, глаза ввалились. — Если списки попадут к белым, — сказал мрачно он,— то знаешь, что они сделают с семьями бойцов?

— Да уж покажут себя, — согласился Сидоренко, — всех вырежут.

В это время подъехали всадники из сторожевого охранения. Они доставили вестового из 6-й кавдивизии. Он передал от начдива письмо Трунову. Командир разговорился с ним. Сидоренко отстал, задумался.

«До восхода солнца еще долго, и беляки не вошли в село... Надо достать списки бойцов и уничтожить... Вот беда-то!... Как же это мы забыли?»

Командир повернул кавполк на Дмитровское. Эскадроны стали спускаться в балку. Трунов с холма наблюдал за их движением. Он и его дончак, освещенные зарей, казались отлитыми из красной меди.

«Что же... каждая минута дорога»...— подумал Сидоренко и тронул коня.

— Товарищ командир, разрешите мне смотаться до села...

Трунов промолчал.

— Я говорю насчет списков...— волнуясь, пояснил Сидоренко. — Конь у меня, как знаете, молния... — приврал он, — может, успею... Конечно, успею опередить гадов!.. А ежели не успею, то, значит, так тому и быть... Мне бы только до ревкома добраться, а там — списки мои... Товарищ командир, все одно, где воевать с гадами, лишь бы за наше дело...

— Аа, ты о списках... Я хотел сам... — начал Трунов, — да видишь, дела-то какие... — Он порывисто пожал руку ординарцу. — О смерти не думай... О ней только дураки думают!.. Ладно, Сидоренко... Езжай.

Сидоренко галопом пустил воронка.

С каждой минутой он приближался к цели. Показалось село. Он влетел в него и понесся на площадь. На улице — ни души. Тишина. Даже ни одна собака не брехнула. Стекла окон то вспыхивали бликами зари, то гасли. Конь Сидоренко тяжело храпел, и падала с него клочьями пена.

— Ну, воронок... Неужли опоздаю, только бы не опоздать... Эй, родимый... — подбадривал Сидоренко.— Сейчас доедем... сейчас... — И конь, как бы понимая седока, напряг последние силы и вынес его на площадь.

Сидоренко спрыгнул с воронка и вихрем влетел в здание.

У него усиленно билось сердце.

— Вот они, — выхватив листы из ящика стола, обрадовался Сидоренко, — теперь никакая сила не возьмет их у меня!

Он запер изнутри дверь, припер столом. Белые заняли окраину. Там трещали выстрелы. Солдаты подъехали к ревкому. Спешились. Через минуту в коридоре раздались шаги, звон шпор, лязг оружия. Солдаты остановились у двери и рванули за скобку. Сидоренко не оглянулся: он сжигал списки бойцов отряда и этим спасал их семейства в станицах, занятых белыми. Солдаты рванули еще раз дверь.

— Ээ, чорт! Она заперта! — сказал грубый голос. — Ломать будем?

— А ты видел, как он, подлюга, забежал сюда? — спросил другой.

— Знамо! Он влетел на крыльцо, как бешеный. Ты обратил внимание на его коня? Он запалил его... весь в пене, а это неспроста...

— Понятно! — подтвердил третий, хриповатый. — Без дела не поскачет к нам... Думаю, важные документы забыли... А вдруг сундук с деньгами?!

— Тогда шпарь, да крепче, — распорядился грубый голос.

Дверь затрещала под ударами прикладов, но не подалась.

Сидоренко, покончив с последними листами, спрятал спички в карман, выпрямился.

— Открывай, сволочь! Все одно никуда не денешься! — грозили из коридора солдаты.

Сидоренко не отвечал. Дверь дрожала и трещала от прикладов.

— Не выдержит, — прошептал Сидоренко и осторожно шагнул к окну, выглянул. На площади — никого. У крыльца — кони. Среди них — и воронок. Сидоренко ощутил, как кровь ударила ему в голову: один прыжок к коню — и он на воле. Сидоренко вспомнил слова командира: «Красный боец обязан думать только о победе».

Дверь с треском грохнула на стол. Сидоренко отскочил от окна, повернулся. Пятеро солдат уставились на него. Сидоренко, почти не целясь, выстрелил. Унтер сразу обмяк и, как мешок, свалился. Солдаты отскочили от двери, открыли стрельбу. Сидоренко, дорожа каждым патроном, стрелял только по цели, без промаха. Он убил еще двух. Остальные убежали из здания. Сидоренко, не желая терять ни одной минуты, бросился к окну, но тут же отскочил: из-за церкви вышла рота солдат и подходила к ревкому. У Сидоренко потемнело в глазах, защемило под ложечкой. Он перебрался в соседнюю комнату, запер дверь и припер столом.

«Неужли не уйду? — вздохнул Сидоренко и прижался к простенку, открыл подсумок и сосчитал патроны. — Не так много... А бомбы? Чуть не позабыл про них, родных!... Ну, теперя, гады, попробуйте удержать меня!...» —Он отстегнул бомбу от пояса и положил ее на табуретку, возле себя.

Солдаты открыли стрельбу по окнам. Зазвенели стекла, осколки с тонким визгом залетали в комнату, со стен сыпалась штукатурка, под потолком от пуль вихрилась пыль. Сидоренко ударился затылком о стену, поднял руку и провел ею по виску, а затем поглядел на ладонь — кровь.

— Какая-то гадюка целилась в голову... — сказал Сидоренко и подполз к окну, притаился.

Солдаты, не слыша ответных выстрелов, прекратили стрельбу, подошли ближе к зданию. Офицер вертелся под окном, размахивая револьвером.

«Это он выстрелил... Он думает, что я готов — убит!»— Сидоренко прицелился и спустил курок. Офицер, взмахнув руками, ткнулся широким красным лицом в дорожную пыль.

Солдаты, сбившись в кучу, обалдело глазели на ротного. Сидоренко метнул бомбу. Сильно рвануло, сверкнуло зеленое пламя. Раздались стоны и крики, а затем выстрелы. Сидоренко выскочил в коридор, из него в сенцы, на двор — и к воротам. Они на замке.

«А калитка? Она не заперта... я вчера вечером носил через нее воду и сено коням... — вспомнил он и повернул к ней. — Открыта!»— Он осторожно припал глазами к рассохшимся

Сидоренко метнул бомбу .Сильно рвануло, сверкнуло пламя.

пазам досок: в проулке, против калитки, четыре солдата. Он проверил капсуль, откинул правую руку с бомбой, а левой распахнул дверь. Солдаты не успели крикнуть, как он бросил в них бомбу. Взрыв. Сидоренко, не обращая внимания на выстрелы, побежал по огородам к реке, к густым зарослям ивняка.

Солдаты гнались за ним.

Сидоренко прыгнул с берега в воду.

... Спустилась теплая ночь.

Над рекой щелкали соловьи. В яровой пшенице скрипел дергач. Далекие, зеленые, сверкали звезды.

Сидоренко устало подошел к стоянке кавполка.

Бойцы давно поужинали и улеглись спать на молодую пышную траву.

Кое-где ржали и фыркали спутанные кони. Два бойца из сторожевого охранения помогли Сидоренко найти командира.

Трещал костер, догорая. Подперев рукой голову, Трунов грустно смотрел на огонь.

Сидоренко осторожно подошел к нему, взял под козырек.

— Товарищ командир, разрешите доложить...

Трунов стремительно встал:

— Василий! — удивился командир. — А я все время думал о тебе... О семьях бойцов... Скажу правду, вся душа изныла... Ты?! — не веря своим глазам, воскликнул он. — Подойди, я погляжу на тебя... Конечно, ты! Жив, здоров, не ранен?

— Я, товарищ командир... Задание ваше выполнил, списки уничтожил...

— Верю, верю... — волнуясь, перебил Трунов и крепко обнял своего ординарца и друга.

РАЗВЕДЧИК Ловянников

Эскадроны 34-го кавполка заняли село Жабокрики.

Полки 6-й кавдивизии Первой Конной разбили 1-ю польскую стрелковую дивизию. Ее жалкие остатки, побросав орудия, пулеметы и винтовки, в панике бежали.

Петр Ловянников, боец из второго эскадрона 34-го кавполка, водил в поводу усталого коня: он и его гнедой скакун здорово поработали в эти дни на ратном поле, чтобы вознести еще выше славу родины. Налево раскинулось ржаное поле. Рожь цвела легким золотым цветом и сладко благоухала. Над полем чистое теплое небо, полное чудесного звучания. Ловянников замедлил шаги, запрокинул скуластое загорелое лицо: в синем океане ликовали жаворонки, — они звонкими трелями славили небо и землю. Прислушиваясь к природе, Петр отвлекся от жестокой рубки, от трупов белополяков и петлюровцев, которыми было усеяно место битвы. Сейчас ему хотелось, как в милом, никогда незабываемом детстве, порезвиться, с разбегу броситься в сладко пахучую рожь, лечь на спину и смотреть широко открытыми глазами в ослепительно яркое небо, волнующее своими тайнами.

«Хорошо, — вздохнул Ловянников, — лежишь на земле, а вокруг хлопотливо, в сильной заботе ползают жучки, серьезно и сердито гудят желтобрюхие шмели... как бы говорят баском: «Не трожьте, не трожьте нас, нам некогда». Да кто же вас, дивные творения, трогает? Собирайте сладкий мед с цветов... Его столько на земле, что хватит для всех».

Петр Ловянников, замечтавшись, не заметил, как подъехал на воронке ординарец Сидоренко, сказал:

— Чорт, ищу больше часа! Ловянников, живо к командиру!

Петр вернулся к действительности, выпрямился, обдернул гимнастерку с протертыми локтями, поправил оружие и, погладив темную от пота шею коня, легко вскочил в седло и поскакал к штабу.

им хочется покончить с землей бежавшего пана Кобылянского, покончить так, как покончили русские и украинские крестьяне с землей своих помещиков, но они боялись: а вдруг красные не победят и отступят, а к ним опять вернется их пан и при помощи жандармов коменданта пана Пилсудского спустит не одну шкуру с них за раздел его имения и имущества.

— Эх, вы, тугодумы, — сказал Ловянников, — надо брать пример с русских и украинцев, помогать нам... Вы Красную Армию должны считать своей: она кровь льет за вас, за вашу, советскую власть...Она против панов и всей мировой буржуазии... Отцы, здорово же вам разные паны и ксендзы национальным дымом залепили глаза. Вот вы и не видите большевистскую правду, их дела на русской земле. Когда белополяки заняли Киев, паны вернулись в имения и стали до смерти запарывать крестьян, а когда мы, красные, под Киевом вставили пану Пилсудскому перо... паны штаны замарали... побежали впереди его войск. Генерал Пилсудский, пугая вас москалями, несет вам кабалу, а помещикам сладкую жизнь. Ленин и Сталин, а вместе с ними и весь советский народ несут вам избавление от помещиков и всякой мрази. Ленин и Сталин, а также и рабочие и крестьяне России хотят вам помочь в том, чтобы вы были хозяевами на своей земле, правили государством своим... А вы кричите с панами и генералами: «Польша! Польша!» Будто мы ее в карман положили, а вас переселили в воздух...Мы только выметаем панов и всякую кровососущую нечисть, чтобы вам на родной земле вольготнее жилось, чтобы вы могли без панов и других паразитов радостно жить и в дружбе с народами России строить свое рабоче-крестьянское государство...

Крестьяне удивленно смотрели на широкоплечего богатыря, который так неожиданно, просто и отечески заговорил с ними.

— Да ты, Ловянников, убийственный оратор! Ты их сразу положил на лопатки! — воскликнул комиссар бригады. — Браво, браво, товарищ!

— Когда-то в деревне агитировал своих мужиков, — смущенно ответил Петр Ловянников. — Мужички любят, чтобы с ними практично, по существу говорили... Я не только шашкой рубить умею, но и... Впрочем, этих чертей не скоро агитацией прошибешь!..—и Петр с горькой иронией пояснил, показывая взглядом на крестьян: — Голь перекатная, а тоже с панами вопит: «Мы — нация! Хотим национального возрождения!» Словом, товарищ комиссар, медовый месяц переживают... Вот когда паны покажут им кузькину мать, а паны несомненно — на то они и паны — покажут, тогда мужички поймут, что такое «мы — нация» и «национальное возрождение»... Вот тогда-то мужички поймут, как надо по-настоящему сражаться за свое подлинное национальное возрождение.

Комиссар бригады улыбнулся Ловянникову и обратился к крестьянам, которые были и смущены и сильно удивлены словами бойца.

— Товарищи, не сердитесь на него. Он прав! Он не оскорбляет вас... Он высказался таким тоном только потому, что вы не понимаете разницы между царской бывшей Россией и новой советской... Кроме того, он глубоко любит вас, как братьев по классу, таких же тружеников, как он.

Петр сел на гнедого и уехал в возбужденном состоянии в свой эскадрон. Бойцы встретили его и сообщили ему, что они назначены в разведку.

Ловянников поднялся на заре, разбудил товарищей. Они проверили оружие, прихватили на всякий случай ручных гранат, запаслись изрядно патронами и тронулись в путь. Вначале ехали по проселочной. По обе стороны дороги — рожь. Ее колосья взблескивали, как жемчугом, капельками росы. Из ржи то здесь, то там, синея, выплывали ранние васильки. Пели перепела в разных краях поля; в лазури звенели жаворонки, встречая густые малиновые лучи солнца. Бойцы спустились в низину. Над журчащим ручьем стлался бледномолочный туман, цепляясь за кусты низкого ивняка. Озираясь по сторонам, бойцы поднялись на горку, освещенную первыми лучами, сверкавшую росой, остановились недалеко от деревни. Затем въехали в нее. На узкой улице, заросшей темным подорожником, гуляли стайками куры, два поросенка, стояла сухая и облезлая лошадь с костлявой и грустной, поникшей мордой. Ловянников, заглядывая в переулки, в окна изб и под навесы амбаров, свернул к покосившейся избе, постучал ручкой плетки о перила крыльца. На его стук открылось окно и выглянула молодая женщина.

Бойцы эскадронов отдыхали, кормили и чистили коней, пили чай, проверяли оружие, чинили обувь и белье, писали письма родным и близким знакомым. Под навесом амбара какой-то боец с иссиня-черным чубом, лихо выбившимся из-под козырька фуражки, играл на гармошке «Хаз-Булат» и подпевал переливчатым тенорком, а против него толпились бойцы, девушки и парни-подростки.

Штаб помещался в волостном правлении. Когда подъехал к нему Ловянников, командир кавполка Трунов стоял на низком крыльце и объяснял крестьянам-полякам, что такое советская власть и что она дает трудовому народу.

— По декретам советской власти земля пана Кобылянского принадлежит нам? — спросил пожилой, с серой, жидкой бородкой крестьянин.

— Все — и земля, и скот, и леса, и движимое и недвижимое имущество — принадлежит вам, — ответил твердо Трунов.

Ловянников слез с гнедого и, поручив его Сидоренко, прошел к крыльцу, расталкивая крестьян. Поляки слушали внимательно, вздыхали и недоверчиво оглядывались друг на друга. Командир, заметив Ловянникова, прекратил речь и позвал его к себе. Петр поднялся на крыльцо. Трунов повел бойца в помещение.

— Вот что, Ловянников, — начал ласково командир, — ты должен сделать глубокую разведку и собрать сведения о расположении сил противника. С тобой поедут двадцать бойцов. Тебя назначаю начальником, и ты будешь отвечать за точность своих сведений. Иди и готовься!

— Рад служить трудовому народу, товарищ командир! — козырнул Ловянников и, звякнув шпорами, вышел из штаба.

Крестьяне все еще толпились у крыльца. По растерянным и возбужденным их лицам Петр заметил, что

Увидав военных, она испуганно заморгала глазами.

— Белополяки не проходили через вашу деревню?

— Солдаты давно ушли...

— Как давно? Когда?

— Еще вчера утром... Всю воду в бочке, дьяволы, вылакали... — жаловалась женщина. — Напившись, еще шибче побежали...

Бойцы переглянулись с Ловянниковым.

— Айда, товарищи, дальше, — сказал Петр.

Опять поля, пение жаворонков в синеве, булькающие крики перепелов во ржах и овсах. Серебристый — сизый простор, а за ним опять деревни, перелески и поля... Солнце поднялось выше. От его лучей листва на деревьях стала темнее, казалась блестящей, клейкой. Поля как бы побелели. Над ними струился голубоватый пар. Ловянников и его товарищи приблизились к другой деревне, утопавшей в густой зелени садов. Бойцы остановились в нескольких саженях от нее и долго разглядывали улицу, переулки и сады. Никакого движения, словно вымерла. Даже отсутствовала домашняя живность — куры, поросята и телята... Только на старой дуплистой липе, закрывшей собой избу, гукали и шипели, как индюки, скворцы. Разъезд въехал в деревню. У крыльца бревенчатой избы сидели женщины. Возле них ползали в грязных рубашонках с завязанными на спине в узлы подолами годовалые дети.

Петр обратился к женщинам:

— Гражданки, белополяки далеко? Когда они были в вашей деревне?

Женщины в один голос ответили:

— Не знаем... Были да ушли...

— Ну, ладно, — буркнул Ловянников, — не знаете, так лучше молчите... — и он обратился к товарищам. — Бабы не говорят... Нам осторожно надо действовать...

Они оставили деревню, свернули в балку и продолжали путь по ее опушке, поглядывая по сторонам. В низине лежало село, из-за деревьев поднялась колокольня костела. Бойцы спустились в балку и направились по тропинке, заросшей с обеих сторон частым кустарником, к неизвестному саду. Чтобы не быть застигнутыми врасплох и не наскочить всем разъездом на белополяков, Ловянников приказал товарищам остановиться в конце тропинки, в кустарнике, а сам отправился в село, не занесенное на карту. Петр с чуткой привычной осторожностью добрался до села, осмотрелся — ничего подозрительного. Он тронул поводья и поехал дальше. На пути он встречал крестьян. Они с опаской оглядывали Петра, незнакомого им всадника. Ловянников тоже пристально разглядывал крестьян, — они не внушали ему доверия. Петр все же обращался к ним с вопросами, но они не отвечали ему и спешили укрыться от него. Такое нелюдимое поведение крестьян возбудило в Ловянникове острую подозрительность.

— Что за село? — сказал он тихо, — точно в нем живут одни глухонемые. Ну, и черти, — сказал без злобы, с обидой, — хоть бы богато жили, а то нищие! Молчат, как паны и ксендзы. Я б зараз башку снес пану, а мужика жалко — свой брат.— Петр задумался: ехать дальше или обождать товарищей? — Ээ, поеду! — Он помчался на площадь, к костелу, но тут же, заметив белопольскую пехоту у белого каменного дома, похолодел и осадил гнедого.

— Значит, надо назад. — Он повернул коня. Умный и добрый гнедой вынес его на окраину. До тропинки, где скрывались его бойцы, осталось не так далеко — рукой подать.—Сейчас я сверну в следующий переулок и буду вне села и предупрежу своих раньше, чем они въедут в село.

Не раздумывая, Ловянников влетел в переулок, но тут же немедля остановил разгоряченного коня: навстречу шел взвод белопольской пехоты, четко выбивая шаг по накатанной земле. Белополяки, не подозревая в нем красного, приближались к нему. Что делать? Как быть? Петр резко повернул коня назад: два пузатых жандарма бежали за ним следом. Ловянников догадался, что кто-то из местных жителей, видевших его, сообщил жандармам о нем, как подозрительном всаднике, и они торопились с помощью солдат задержать его в переулке. Петр почувствовал, как кровь ударила ему в голову, ноги похолодели.

— В ловушке... Как же это я сплоховал?.. Поймают, замучают... Эх будь, что будет!.. Пропадать, так с музыкой!.. Пусть помнят о буденновце!..—Ловянников расправил свои саженные плечи, почувствовал в себе орлиную силу и ловкость. Он так повернул коня-красавца, что тот поднялся на дыбы, рванулся по воздуху и вихрем понесся вперед. Петр, выхватив клинок, громко скомандовал:

— Эскадрон, за мной! Урра! — и ураганом обрушился на белополяков, ничего не подозревавших. Он рубил клинком направо и налево, снося головы с обезумевших солдат. Часть белополяков метнулась в разные стороны, вообразив, что на них налетела масса красной конницы, страшной и легендарной. Другая часть солдат опомнилась спустя несколько минут и, увидав одного неистоводерзкого всадника, обалдела и со страхом кинулась к нему. В это время, зарубив перепуганных жандармов, ворвались товарищи Петра и помогли дорубить взвод вражьей пехоты. Затем они с разных сторон вынеслись на площадь и врезались в пехоту противника.

— Матка боска! Буденновцы! — бросая винтовки, хватаясь руками за головы, заорали истошным голосом белополяки.

Услыхав топот конский, крики «ура!» и лязг сабель, офицеры выбежали из дома ксендза и закружились на площади: бежать им было некуда, они наскочили на всадников, которые рубили их пехоту и обезоруживали. Рыжий офицер с черными, как сливы, на выкате глазами, с туго перетянутой талией, в щегольских желтых крагах, поднял револьвер, но не выстрелил, так как в эту минуту пронесся мимо него Ловянников и ударил его так клинком, что он, уходя в мир вечных теней, запечатлел в своих сразу расширившихся от ужаса зрачках суровый блеск стали и как бы высеченное из гранита беспощадно карающее лицо красноармейца...

Разъезд — двадцать бойцов — под командой Петра Ловянникова зарубил 62 белополяков и трех офицеров, 86 белополяков взял в плен. Остальные солдаты — небольшая часть — разбежались, побросав оружие и сумки с патронами.

За находчивость и распорядительность, за беззаветную храбрость в этом замечательном бою с противником, который был в десять раз сильнее, командование Первой Конной армии представило бойца Петра Ловянникова к высокой награде — ордену Красного Знамени.

Ловянников рубил клинком направо и налево

В. АРАМИЛЕВ

В ТАЙГЕ

Рис. Ардо

Через деревню Иванково всю ночь шли обозы. Снег скрипел и визжал под санями, ржали загнанные кони, перекликались простуженные голоса. Фронт где-то был прорван, и огромная область с десятками заводов и городков оказалась почти отрезанной.

Тысячи людей стремились, пока еще не поздно, пробиться к линии железной дороги, ускользнуть из белого кольца. Под утро Иванково было занято отрядом белой пехоты.

А там, в далеком тылу, видимо, ничего не знали. Шумный поток отступающих, не ослабевая, катился по размятой ухабистой дороге. Красноармейцы и партизаны отступили раньше. Теперь выезжали советские служащие, члены волостных исполкомов, комбедчики, продработники. Они ехали безоружные, с женами, детьми. За нагруженными домашним скарбом розвальнями и кошевами тянулись коровы, телята, овцы. Обоз въезжал в Иванково. Из переулков обрушивались залпы. Падали кони, ломая оглобли. Люди в бараньих тулупах и полушубках ползли от саней к дворам, зарывались в сугробы. Солдаты разыскивали их, кололи штыками, стреляли в упор. Из подворотен яростно брехали на улицу охрипшие псы.

Изба старого охотника Егора Куваева стояла на краю деревни. Жена Егора, Анна Семеновна, напуганная стрельбой и криками убиваемых, забралась в печь и, прикрыв заслонкою чело, бормотала молитвы, тягучие и жалобные. Егор подходил к окну, продувал на обледенелом стекле небольшую лунку и оглядывал улицу. Длинная, тяжелая, впроседь, борода его моталась, как веник. Гремела заслонка, из печи высовывалась лохматая седеющая голова старухи.

— Что делается-то? Утихло, ай нет?

Егор медлительно скреб пятернею лысину.

— Куда там! Крошат и крошат. Тьматьмущая народу побили.

Анна крестилась и вздыхала:

— Пошто это они баб да ребят увечат? Ой, грехи тяжкие!

— Озлились, окаянные! — глухо отвечал Егор. — Без жалости всех лупят.

В полдень стрельба стихла. Пленных заперли в пожарном сарае. Солдаты выгнали баб и мужиков убирать трупы. Земля под снегом промерзла глубоко, рыть могилы никому не хотелось, да и очень уж много было покойников. Мужики, посовещавшись, свезли убитых к реке и спустили в прорубь. Лица мужиков были суровы. Бабы всхлипывали.

***

Штабс-капитан с черными пушистыми усами, командовавший отрядом, вызвал в школу, где разместился штаб, богатого мужика Панфила Язева и объявил:

— Советская власть в районе свергнута... Назначаю тебя старостой. Понял?

— Так точно, вашбродь, — по-солдатски гаркнул Язев.

Офицер сощурил блеклые с поволокой глаза, скучающе зевнул.

— Самогонка есть?

— Нету, вашбродь, красные все самогонные аппараты отобрали. Не то, что самогон — пива, браги сварить нельзя было. Дескать, убыток большой государству. Как в монастыре жили. Своим добром не могли распорядиться.

— Я все разрешаю, — хвастливо сказал офицер.

— Покорно благодарим.

— Коммунистов в деревне много?

— Настоящих, вашбродь, с билетами которые, нету, — бойко ответил Язев, — а подкоммунивающие найдутся.

— Фамилии?

Язев радостно осклабился:

— Я уж списочек составил, на всяк случай.

Он добыл из-за пазухи обмусоленную чайную обертку.

— Вон они, голубчики, девять человек, самые зловредные. Братья Щукины, Петрунька Босых, председатель бедного комитета Игоня Павлов и прочие горлопаны. Постращайте их, подлецов, вашбродь. Житья не было. У меня хлеба двести пудов отобрали, жеребца свели, да еще контрибуцию выплатил, чтоб им сдохнуть. Уж мы вас ждали, ждали...

Штабс-капитан подал бумажку вестовому и велел разыскать «подкоммунивающих». Первые четверо по списку были расстреляны у школьной ограды, остальных выстегали шомполами. Пороли на скамье, поставленной посреди улицы. Глядеть на порку собрали всю деревню. Егор Куваев был со старухой в первом ряду. Шомпол свистел в воздухе и мягко чвакал по голому телу. Люди, кричавшие и корчившиеся на сосновой скамье, были правильные люди. Двое из них недавно вернулись из царской армии, пробыли по три года в окопах. Анна при каждом ударе шомпола вздрагивала и закрывала глаза. Егор стоял неподвижно, со стиснутыми зубами, насупив крылатые брови.

После порки старосту опять вызвали в штаб. Офицер сидел в классной комнате и, грузно опершись локтями о парту, отпивал медленными глотками чай из глиняной кружки.

Панфил Язев угодливо поклонился, прижимая к груди шапку.

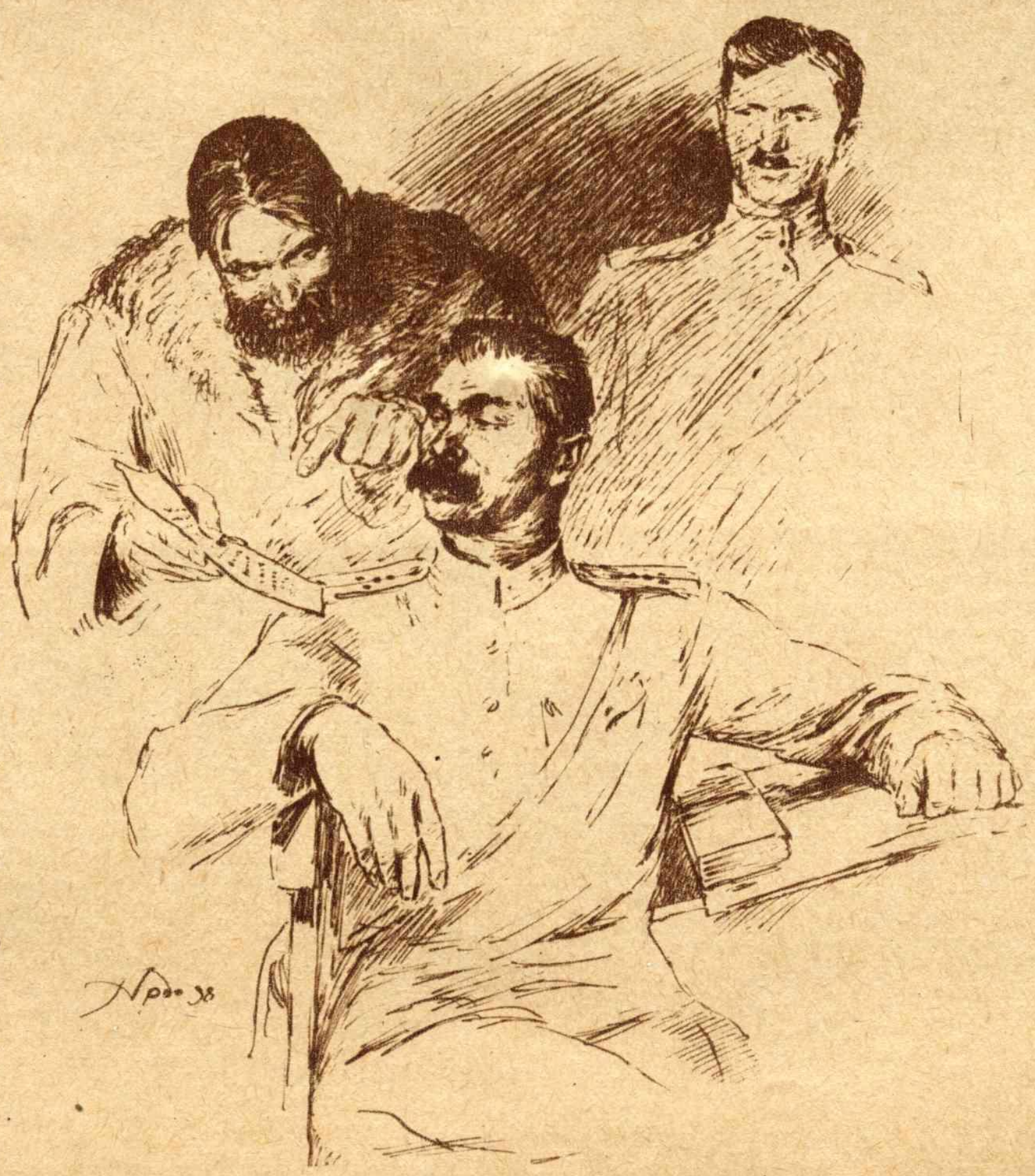
— Чего изволите, вашбродь?

— До завода братьев Анучиных далеко отсюда?

— Верст пятьдесят, ежели рекой ехать, — сказал Язев.

Офицер отодвинул кружку, зажег папиросу. Глаза у него были красные, усталые и словно остановившиеся.

— А напрямую?



— Вот они, голубчики, девять человек!..

— Прямиком-то гораздо ближе. Верст, поди, двадцать, не боле.

— Тропа есть?

— Летом была. А теперь какие тропы? Все завалило. Зима ныне лютая, снегу аршина полтора. Только на лыжах разве.

— Идея! — воскликнул штабс-капитан. — Через полчаса чтобы тридцать пар лыж были здесь.

— Соберем, — сказал Язев. — Народ у нас — звероловы да лесовики, лыжи у всех водятся. Это мы в один момент предоставим.

— И проводника хорошего найди.

— Можно. Егора Куваева наладим.

— Справится?

— Егорка-то? — переспросил Язев. — Он у нас первеющий охотник. Он тайгу на сто верст кругом, как свой двор, знает. Выведи его в лес, завяжи глаза платком и пусти — обязательно домой придет. Лучше Егорки не найти проводника.

— Хорошо, — сказал офицер.

Панфил Язев пошел собирать лыжи.

* * *

Штабс-капитан объяснил Егору Куваеву, что от него требуется.

Егор, опустив вдоль тела длинные жилистые руки, топтался перед офицером, огромный, тяжелый, настороженный.

Лицо в лопухах бороды напряженно темнело.

— Какой я проводник, ваше благородие? Пятьдесят восьмой год пошел. Молодого парня возьмите.

— Поговори у меня, — сердито сказал офицер. — Поведешь, и никаких рассуждений! Война! Для вас же стараемся. Понимать надо.

— Это мы все понимаем, — неопределенно проговорил Егор и пустился доказывать, что ноги у него совсем отекли, и опять же глаза худо видят, и что с молодым парнем итти будет куда сподручнее.

— Ну, хватит, столковались, — прервал его штабс-капитан. — Да вот что еще. Пулемет и патроны придется везти. Снаряди, братец мой, нарты и упряжку собак, да каюра опытного подыщи.

Егор наклонил голову к полу и, словно прислушиваясь к чему-то, тихо и раздумчиво сказал:

— Собаки у нас, ваше благородие, не объезжены, редко запрягали. Лесовые они, собаки-то. Зверя почуют, кинутся — не удержишь. Пулемет, не дай бог, растрясут.

— Я те растрясу. Поворачивайся, борода! Двадцать минут сроку на все сборы. Круго-ом, марш!

Егор вышел от штабс-капитана в сильном расстройстве. Он понимал, что избавиться от роли проводника ему никак не удастся. На улице он растерянно оглянулся по сторонам, потер седловатую переносицу и сердито сплюнул.

Племянник Егора, Митька Голубев, служил в царской армии пулеметчиком. В мировую войну он получил георгиевский крест за храбрость и меткую стрельбу, был ранен в ногу где-то под Карпатами, вернулся в деревню инвалидом. Нога у него срослась, но стала короче, и он изрядно прихрамывал. Егор направился к племяннику.

Митька резал на дворе соломорезкой ржаницу. Высокий и широкоплечий, как Егор, с длинными узловатыми руками, он походил на вывороченную корягу, пахнущую землей и смоляным соком. Племянник обернулся на приветствие и выжидающе посмотрел на дядю.

— Беляков поведем через тайгу к заводу, — сказал Егор. — Запрягай в гуменные санки моих двух собак, своего кобеля, да еще у соседей прихвати штуки четыре. Моего Лыска передовым. Пулемет повезешь.

Митька выпятил грудь колесом, надул губы. В узких прорезях его глаз вспыхнул злой огонек:

— С места даже не сдвинусь. Ну их к лешакам! Где это видано, чтобы инвалидов тревожить? У меня бумага по всей форме, с печатью, двумя докторами и воинским начальником подписана. Я, дядя Егор, отвоевался. Белые для меня — не сват и не брат.

Егор, подражая штабс-капитану, крикнул густым басом:

— Поговори у меня еще!

Митька заморгал белесыми ресницами.

Егор, снизив голос, добавил:

— Ежели заблудимся и тебя станут спрашивать насчет дороги, отвечай, что ничего не знаешь. Уж, мол, на дядю Егора положиться надо, он выведет.

— Понимаю, — сказал Митька повеселевшим голосом.

* * *

Анна сказала Егору:

— Самогонку, слышь, гнать разрешили. Мужики аппараты налаживают. У Панфила Язева пиво замешали, потчевать белых хотят.

— Пущай, — равнодушно ответил Егор.

Старуха, без умолку тараторя, выкладывала деревенские новости.

Глядеть на порку собрали всю деревню.

Егор снял со стены длинноствольную берданку, положил в карман десятка два набитых картечью патронов, сунул за голенище валенка широкий охотничий нож, сделанный из старой пилы.

— Ты куда это? — спросила старуха.

— На Кудыкину гору, — буркнул Егор.

Но старуха была дотошная, прилипчивая. Пришлось рассказать ей обо всем.

— Ах, псы! — всплеснула руками старуха. — Ах, разбойники! Мало крови здесь пролили и там хотят всех побить-покалечить. Не ходи, Егор, с ними, не ходи!

Старик лукаво усмехнулся:

— Много ты понимаешь!

Старуха не унималась, браня его на чем свет стоит. Он строго цикнул на нее и велел укладывать в пестерь сухари. Старуха замолчала.

Подтянув опояску, Егор шагнул через порог. Старуха все-таки не удержалась и крикнула:

— Я те, душегуба, в избу не пущу! Истинный бог, дверь запру на залом и не пущу!

Он опять усмехнулся. И вдруг, став серьезным, сказал:

— Ты вот что, Анна Семеновна, поезжай-ка в Томилино, погости у тетки Агафьи. Здесь фронт. Мало ли что может случиться!

— А скотину я на кого брошу?

— Соседи доглядят. Поезжай — да сиди там, не высовывайся шибко на людей-то, не ходи по деревне, будто тебя и нет совсем.

В сознании старухи мелькнула какая-то догадка.

— Что ты надумал? — спросила она изменившимся голосом. — Что надумал?

— Это уж не твово куриного ума дело, — сказал он, круто повернулся и вышел.

Во дворах ревели коровы. Бабы топили печи. Дым столбом поднимался в мутное небо.

«К холоду», — подумал Егор.

У ворот его встретил батрак Панфила Язева, Поликашка. Был он годов на десять моложе Егора, но выглядел стариком, ходил какой-то странной вихляющей походкой, как опоенная лошадь. Молчаливый и угрюмый, Егор недолюбливал Поликашку за острый язык.

Поликашка вздернул сизую с прозеленью бородку, сощурил на Егора крохотные, подслеповатые глазки:

— Провожатым к белякам, слыхать, определился?

— Определился, — сказал Егор, — А тебе какая забота?

— За деньги али так, за спасибо?

— Сто рублей обещали, — сказал Егор, окидывая Поликашку недружелюбным взглядом.

Они стояли друг против друга. Поликашка теребил бороденку. Егор набил табаком трубку и стал чиркать спички.

Смутное чувство неуверенности и досады копошилось у него в груди, мешало ему спокойно обдумать то, что предстояло сегодня выполнить.

— Продешевил, — с усмешкой сказал батрак. — Я б за такое... не мене тыщи взял.

— Что вы все меня учить навязались? — срывающимся голосом закричал Егор. — Я сам, кого хошь, поучу. За собой наблюдай получше.

Поликашка досадливо махнул рукой.

— Вали, вали. Мы поглядим, каков ты есть. Мы еще поговорим с тобой. Белые не век процарствуют.

Егор, сжав губы, торопливо пошел к штабс-капитану. Из ограды с противоположной стороны улицы, в собачьей упряжке, на санках, поставленных на широкие лыжи, вылетел Митька Голубев. Огромный серый Лыско с золотисто-оранжевыми глазами, похожий на волка, прижав стоячие уши, скакал головным. Штабс-капитан осмотрел упряжку, потрепал Лыска по шее. Солдаты привязывали к санкам пулемет. Офицер кинул на Митьку косой взгляд и спросил, показывая на пулемет:

— Видал такую штуку?

— Где нам видать? — чуть слышно проговорил Митька. — Живем в лесу, молимся пню.

— В армии служил?

— Не привелось, ваше благородие...

— А с ногой у тебя что?

— Нога-то? — смутился Митька. — Мне ее лесиной захлестнуло, подростком еще был тогда. С тех пор хромаю.

Офицер подозвал рыжеусого солдата в заячьем малахае и, кивнув на Митьку, сказал:

— Конвоировать его будешь. Гляди в оба. Пулемет прикрывай.

Взвод встал на лыжи. Штабс-капитан подал команду. Солдаты вытянулись цепочкой, двинулись по снежным гривам к зеленому под зимним солнцем лесу.

Егор в дубленом полушубке, в рысьем треухе шел передом. За ним, неловко опираясь на палки, скользил штабс-капитан. В хвосте шеренги, по проторенной лыжне, ехал с пулеметом Митька, сопровождаемый рыжеусым солдатом. Собаки грызлись, путали постромки и кидались в сторону по заячьим следам. Митька хлестал их длинным шестом, деланно-строго покрикивая.

— Не балл-лвай! Эге-гей!!

* * *

От солнца и блеска снегов было так светло, что больно смотреть.

— Ты чего э

Они шли в молчании. Было морозно. Красногрудые снегири сидели на ветках, нахохлившиеся, как вылепленные из цветного воска игрушки. Черные усы штабс-капитана подернулись синеватым инеем, щеки по-

багровели и углы на воротнике смерзлись в ледяные сосульки. Под лыжами похрустывал затвердевший от ветра снежок. Изредка мертвое молчание тайги нарушалось стрекотаньем сорок, лениво перелетавших над лесом.

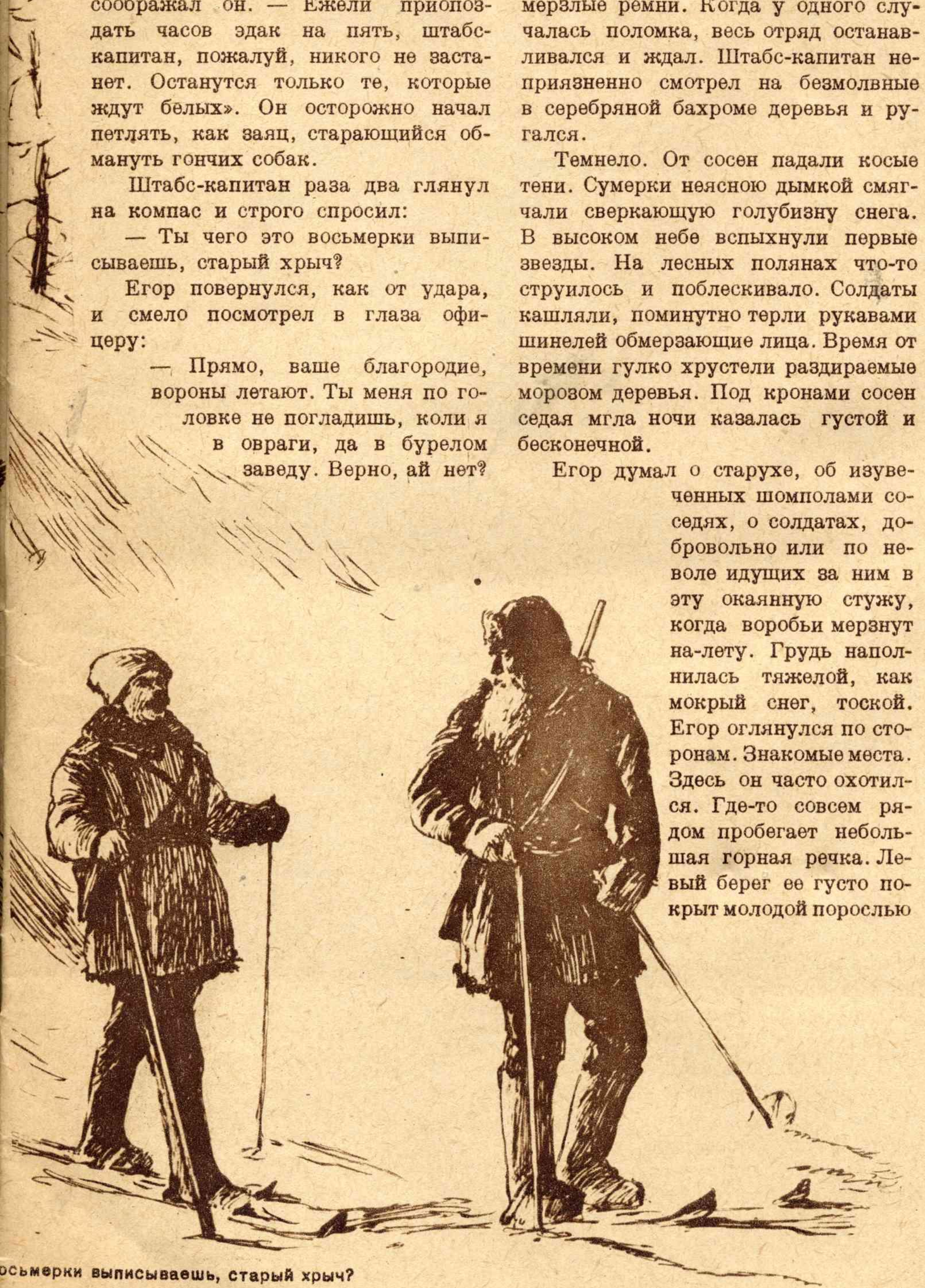
Егор чувствовал горькую пустоту в сердце. Думал до боли в затылке и ничего придумать не мог. Будь лето, тогда иной разговор. Он завел бы их в гущеру и постарался бы как-нибудь... А сейчас не скроешься. Мысли в голове путались. «Заводские уж, наверно, выезжают к чугунке, — соображал он. — Ежели приопоздать часов эдак на пять, штабс-капитан, пожалуй, никого не застанет. Останутся только те, которые ждут белых». Он осторожно начал петлять, как заяц, старающийся обмануть гончих собак.

Штабс-капитан раза два глянул на компас и строго спросил:

— Ты чего это восьмерки выписываешь, старый хрыч?

Егор повернулся, как от удара, и смело посмотрел в глаза офицеру:

— Прямо, ваше благородие, вороны летают. Ты меня по головке не погладишь, коли я в овраги, да в бурелом заведу. Верно, ай нет?



Восьмерки выписываешь, старый хрыч?

Лицо штабс-капитана оставалось неподвижным.

Солдаты обрывали ледяные сосульки на бородах и усах, раскуривали цыгарки, жадно глотая густой синий дым. В воздухе запахло серой и душистой махоркой. Солдаты слушали ветер. Над ними блестела тускло-синяя сталь штыков. Наносило терпкий запах перемерзлой пихтовой хвои.

— Гляди у меня, борода, — пригрозил офицер. — Опоздаем — худо тебе будет.

Егор смерил его твердым взглядом из-под густых бровей:

— Воля ваша, — и двинулся вперед.

Солдаты не все умели ходить на лыжах. На крутых угорах, при подъеме и спуске, они падали, обрывая мерзлые ремни. Когда у одного случалась поломка, весь отряд останавливался и ждал. Штабс-капитан неприязненно смотрел на безмолвные в серебряной бахроме деревья и ругался.

Темнело. От сосен падали косые тени. Сумерки неясною дымкой смягчали сверкающую голубизну снега. В высоком небе вспыхнули первые звезды. На лесных полянах что-то струилось и поблескивало. Солдаты кашляли, поминутно терли рукавами шинелей обмерзающие лица. Время от времени гулко хрустели раздираемые морозом деревья. Под кронами сосен седая мгла ночи казалась густой и бесконечной.

Егор думал о старухе, об изувеченных шомполами соседях, о солдатах, добровольно или по неволе идущих за ним в эту окаянную стужу, когда воробьи мерзнут на-лету. Грудь наполнилась тяжелой, как мокрый снег, тоской. Егор оглянулся по сторонам. Знакомые места. Здесь он часто охотился. Где-то совсем рядом пробегает небольшая горная речка. Левый берег ее густо покрыт молодой порослью ельника и пихтача; правый — высок и обрывист.

Однажды, вот в такой же снежный год, гнал Егор по разбухшему насту матерого лося. Был он тогда еще молод, неутомим в беге, и рыжий кобель вогульской породы, сопровождавший его в тот день, был ему подстать: легкий, пружинистый, точно сделанный из одних мускулов. Лось долго бежал от них по прямой, ныряя в сугробах, оставляя клочья бурой шерсти на сучьях и пнях. Потом он обессилел, и они прижали его к реке. Ноги лося был изрезаны в кровь, бока дымились, с опаловой морды стекала розовая пена. Собака, хрипя, вцепилась ему в зад. Он, будто не чувствуя ее, медленно шел к обрыву. Егор взвел курок и стал забегать сбоку, чтобы всадить пулю в переднюю лопатку измученного рогача. Но тут случилось такое, чего молодой охотник даже представить себе не мог. Лось замер над обрывом на одно короткое мгновенье и, поджав точеные ноги, ринулся с головокружительной высоты на синеющий внизу лед, увлекая за собой собаку. И оба они, лось и кобель, разбились насмерть. Егор, стоя над кручей, долго дивился тогда этой звериной ухватке.

Увлекательные картины охоты проплывали в его сознании, сменяя друг друга, и мысли снова возвращались к лосю. Люди, которых вел Егор, были неправильные люди. Это были враги. Он приведет их на крутизну и прыгнет, как тот лось, под обрыв.

Он крякнул, взбадривая себя, глянул повеселевшими глазами на штабс-капитана, на солдат в обледенелых шинелях и стал думать о том, что теперь беспокоило его. Затея казалась ему не такой уж сумасбродной.

Лось разбился. Он не разобьется. Его ноги еще достаточно упруги и крепки. Враги прыгать за ним не посмеют, будут стрелять — вряд ли попадут: руки у всех застыли и, когда еще снимут ружья да приготовятся, он уйдет, скроется в подлеске.

Митька не поведет их к заводу, а и захочет вести — не скоро найдет дорогу. А тем временем, он, Егор, даст круг, выйдет на большак, примкнет к обозам, отступающим на чугунку, а там видно будет. Когда это окончательно созрело и утвердилось в его голове, стало так легко и просторно, словно лес внезапно раздвинулся и сумрак пропал. Он ускорил шаги. Но тут вспомнился племянник. Что будет с Митькой? Убьют? В нем шевельнулось смутное чувство стыда и горечи. В свой смертный час Митька подумает: «улизнул, старичок, а меня...» Он остановился, как бы переводя дух, опустил голову и прислушался. Каюр тонким пронзительным голосом кричал на грызущихся собак. Лыско жалобно взвизгнул от удара шеста. Егор шаркнул лыжами по снегу и опять задумался. Племянник еще молодой...

Стоит ли ему, Егору, бежать? Он жил много. Что из того, если офицер убьет его, как обещал? Обветшалая, засохшая ель в два обхвата толщиною рушится от легкого толчка и рассыпается в прах, удобряя собою землю. Из праха вновь возрождается сочная трава, тянутся к солнцу молодые побеги. Таков закон тайги. Он, как это старое дерево, обречен временем на смерть. Пусть накаленный злобой штабс-капитан даст ему последний

Штабс-капитан тяжело рухнул вбок.

толчок. Или лучше так: он, будто нечаянно, сорвется с кручи и, скрестив лыжи, полетит вниз головой. С мертвого какой спрос? И Митька будет цел.

* * *

Собаки рванули с лыжи по свежему следу. Нарты с пулеметом опрокинулись. Все спуталось и завертелось в облаке снежной пыли. Солдаты закричали: «Привал!» Штабс-капитан послал Егора помогать Митьке остепенить взбесившихся псов. Вдвоем они быстро все наладили. Нарты были очищены от снега, собаки стояли на тропе, щелкая ощеренными клыками, вздрагивая от возбуждения и повизгивания. Рыжеусый солдат, конвоировавший Митьку, сидел в стороне, переобувая обледенелые унты.

— Митюх! — шопотом спросил Егор, сгибаясь над санками. — Приспособа к пулемету здесь, иль у них по мешкам рассована?

— Эва где, — Митька кивнул на пулеметные ленты. — Все у меня.

— А ты по ним жарехнуть можешь? Так, чтобы всех до одного?

— Почему нет? — важно сказал Митька. — Только и тебя вместе с ими покошу, ты впереди идешь.

Егор глянул в сторону солдат и чуть слышно произнес:

— На крутике я сигану вниз, а ты...

— Ушибешься, — печально сказал Митька.

— Ничего, — ответил Егор. — Я, брат, мастак на эти дела. Я за соболем гонялся, да не с таких угоров прыгивал.

— А зачем тебе прыгать? — спросил Митька. — Зачем солдат бить?

— Ты что? Маленький?

— Ничего не маленький. Каратели, которые особенно лютуют, в деревне остались, а эти, вроде нас с тобою, силком недавно забраны. Мне этот рыжий все обсказал. В плен собираются к красным податься, как до настоящего фронта дойдут. Они офицера боятся. Сами его кокнуть собирались.

— Неужто? — обрадовался Егор.

— Истинный бог! — подтвердил Митька.

— Это дело другое, — сказал Егор. — Но ты все же пулемет наготове держи, ежели что...

Солдаты встали на лыжи. Прозвучала команда «вперед!».

Снег заскрипел.

Штабс-капитан шел за Егором, пыхтя и отдуваясь. Он выбился из сил, отставал и требовал итти потише.

Подошли к реке. Возле обрыва сплошной стеной высились деревья с обвислыми под снегом ветвями. Для прохода оставалась узкая полоса в десять шагов шириною. Крутик тянулся версты на две. Они двигались кромкою берега над самым обрывом. Егор понимал, что нужно действовать. Место было самое подходящее. Но старый охотник ни разу в жизни не поднимал ружья на человека... Вот если бы офицер сейчас заорал на него, пригрозил...

«Только бы осечки не получилось, — подумал он, зябко поводя отяжелевшими почему-то плечами. — Пистоны прошлогодние, язви их в печонки».

На самом высоком месте Егор окинул взглядом тайгу, прозрачно-синее в крупных звездах небо и приготовился. Был уже предрассветный час. Придавленная снегом пихта стряхнула с себя груз, и эхо, чуть слышное, как вздох, понесло звук на отроги. Из-под ели со звоном поднялся глухарь и взмыл над кручей, как черное опахало. Солдат крикнул: «Держи», а зимой кричать в горах не следует.

Позади Егора снежный навес бесшумно оборвался, точно подрезанный пилой, и, взвихрившись, полетел вниз. Два солдата скатились под откос. Егор с замирающим сердцем бросил с ног лыжи и, увязая в снегу, сделал несколько шагов, глянул под откос. На льду возвышалась громада снега. Солдат не было видно.

— Завел, сукин сын! — прохрипел опомнившийся штабс-капитан, вынимая из кобура наган. Руки его тряслись. Опережая офицера, Егор стремительным рывком снял с плеч берданку и, как это бывало с ним, когда внезапно, разбрызгивая снег, поднималась тетеревиная стая, выстрелил навскидку. Штабс-капитан тяжело рухнул вбок, обрывая юксы на лыжах, и ткнулся лицом в пахучий таежный снег.

— Ух! — крикнул приземистый солдат с обмороженными щеками.

— Собаке собачья смерть! — гаркнул рыжеусый.

Митька припал к пулемету, заправил ленту и ждал.

Солдаты взволнованно перекидывались словами.

— А вы как, детки, насчет того, чтобы к красным переметнуться? — спросил Егор. — Доведу живым манером.

— Да мы что ж... — отозвался передний. — Мы давно думку такую имели. Верно, ребята?

— Верно, — выдохнули хриплые голоса.

Егор вскинул берданку на плечо и скомандовал:

— За мной, детки!

Над тайгою вставало утро. Затухая, мигали зеленоватые звезды. Дул колючий северный ветер.

Слава

Андрей ХУТОРЯНИН

В суровой полярной пустыне бескрайной
Века он стоял неразгаданной тайной,
Веками безмолвствовал „белым пятном",
Таинственный полюс в кольце ледяном.
Веками стремились в немые просторы
Людские пытливые мысли и взоры.
История чтит имена смельчаков,
Дерзавших проникнуть в загадку веков.
На северных нартах, судах, самолетах
Блуждали они в заповедных широтах.
Амундсен и Пири, Андрэ и Седов,—
И смерть стерегла их в безмолвии льдов.
И так же сурово молчала вдали
В снегах и туманах вершина земли.

★ ★ ★

Но вот в тишину ледовитых просторов
Врывается рокот могучих моторов.
Сквозь муть непогоды, сквозь тучи и снег
Стальные гиганты летят в вышине.
Пурга преграждает их доблестный путь,
Пытаются ветры с дороги столкнуть,
Встают облака неразрывной стеной,
Но на-двое режет их натиск стальной,
И рокот моторов, упр м и напорист,
Гудит, не смолкая:— На полюс! На полюс!

★ ★ ★

Пусть снежным пространствам не видно конца,—
Упорством и мужеством дышат сердца
Героев, бесстрашно стремящих вперед,
В безвестные дали, свой смелый полет...
И вот, он окончен — победный маршрут!
Векам не забыть этих славных минут,
Когда на снегах, над вершиной земной,
Взвился нашей Родины флаг огневой.

★ ★ ★

И четверо смелых на северной льдине
Одни остаются в безмолвной пустыне.
Одни ли?.. За далями снега и льда
Их светлая Родина с ними всегда.
Согреты ее материнской заботой,
Отважно вступают в борьбу с непогодой
Четыре героя, чей подвиг и труд
В страницы истории гордо войдут.

★ ★ ★

Немало работы, немало чудес:
Высокое солнце не сходит с небес,
И, грозно ворча под дрейфующей льдиной,
Дрожат океана глухие глубины.
Четыре героя упорно и смело
Свершают свое дерзновенное дело:
Вникают в загадки высоких широт,—
В движенье ветров и течение вод.
Приборы точны, и расчеты верны,
И люди на льдине — тверды и сильны!
Спокойно они и уверенно ходят
Средь острых торосов и черных разводий,
И радио с полюса рвется в простор,
И Кренкеля голос уверен и тверд.

★ ★ ★

... Полярная ночь глубока и черна,
И ветер бушует, и стужа сильна.
Трещит, разрывается, рушится лед,
А яростный шторм все растет и растет.
Но воля героев — сильна и тверда,
Страна их и Партия — с ними всегда!

★ ★ ★

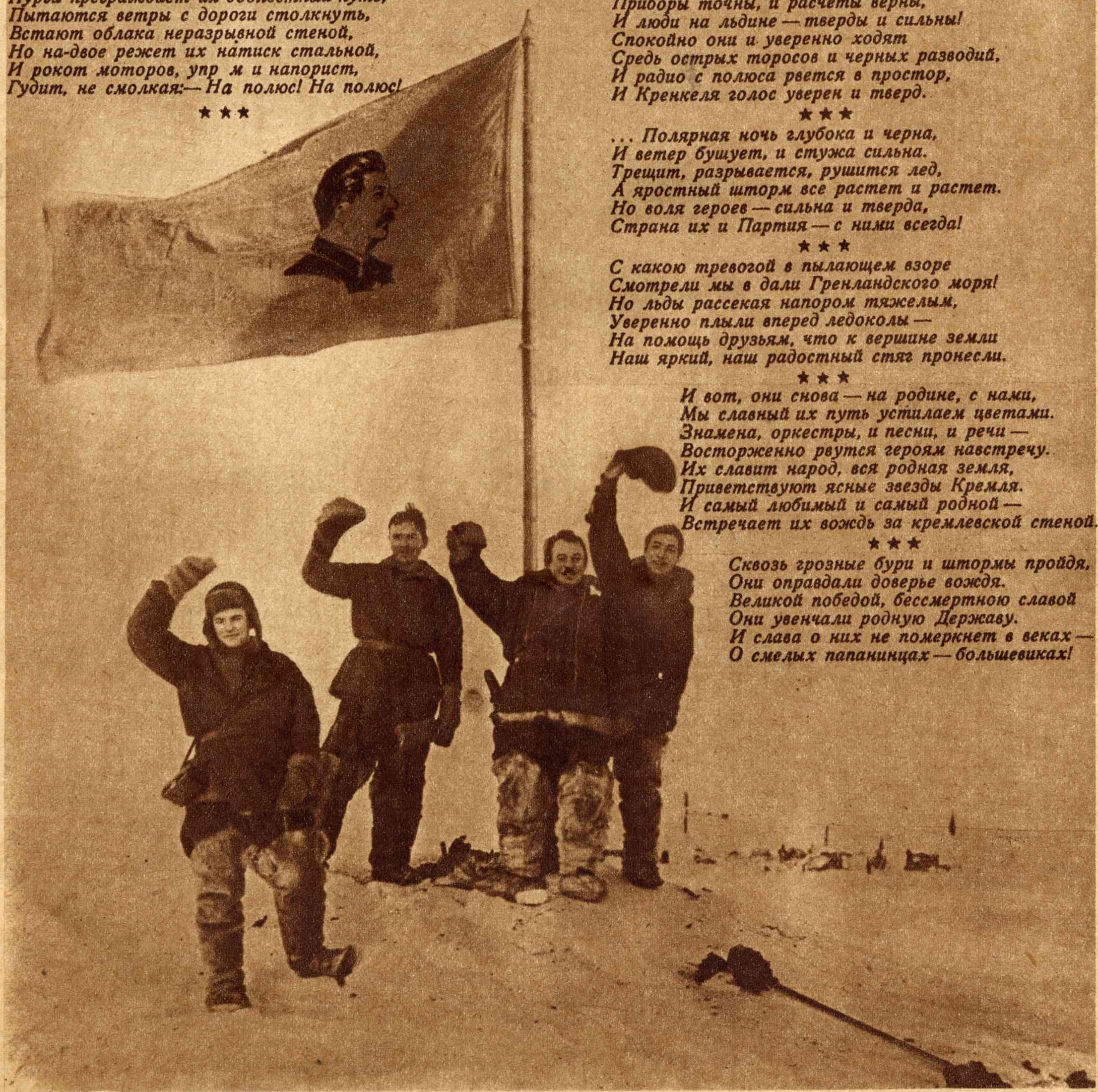
С какою тревогой в пылающем взоре
Смотрели мы в дали Гренландского моря!
Но льды рассекая напором тяжелым,
Уверенно плыли вперед ледоколы —
На помощь друзьям, что к вершине земли
Наш яркий, наш радостный стяг пронесли.

★ ★ ★

И вот, они снова — на родине, с нами,
Мы славный их путь устилаем цветами.
Знамена, оркестры, и песни, и речи —
Восторженно рвутся героям навстречу.
Их славит народ, вся родная земля,
Приветствуют ясные звезды Кремля.
И самый любимый и самый родной —
Встречает их вождь за кремлевской стеной.

★ ★ ★

Сквозь грозные бури и штормы пройдя,
Они оправдали доверье вождя.
Великой победой, бессмертною славой
Они увенчали родную Державу.
И слава о них не померкнет в веках —
О смелых папанинцах — большевиках!



Раздвоение личности

Вл. ГЛАЗЫРИН
Техник-интендант 1-го ранга

Рис. В. Высоцкого

О том, что Семен Звонов жив и здоров, Соколихин узнал совершенно случайно, из разговора с попутчиком по купе. Это было так неожиданно и настолько его взволновало, что последнюю ночь перед Москвой он долго не мог успокоиться.

Сенька, Семен Звонов, друг кровный, которого он считал умершим от ран в полевом лазарете под городом Борисовом, — жив! Этому почти невозможно поверить — ведь Семена он видел уже почти умирающим. Но вот — человек, что лежит против него, на верхней полке, ясно говорит о «директоре своего треста, Семене Николаевиче Звонове». И описание наружности сходится — седой только, ну что ж, времени прошло немало.

Поезд приближался к Москве. Соколихин заранее предвкушал радость встречи с другом. Одолевало нетерпение. Ночью во Всполье слез, телеграмму послал домой, жене, — дескать, друг его Звонов Сенька, о котором он рассказывал часто, герой неустрашимый — жив, поздравь меня, — добавил он в телеграмме, — какая радость!

В вагоне стояли полумрак и тишина. Нахлынули воспоминания.

Вот она, станция Приямино, под Борисовом. Редкий лес, тяжелые пески. Унылая лощина, а влево болота и болота. Как сейчас, помнятся дни конца мая, не солнечные и не дождливые. Горячие бои разыгрывались ежедневно. В Славном стояла наша авиация, помогая боевым операциям пехоты.

А с Сенькой познакомился и подружился еще до Приямина, в Орше. Направленный командным отделом главштаба в часть, он разыскивал на путях перебрасываемую с другого участка фронта дивизию. Роту принимал в вагонах. Жить комбат Звонов пригласил к себе. Оба оказались молодыми парнями, окончившими одни и те же Вятские командные курсы, в разное только время. Оба сибиряки. Подружились сразу. Через три дня стали на позицию. Две недели прошли в боях и дружбе. Во время затишья вместе чай пили из жестяных кружек, вспоминали Тобольский край, Иртыш-реку и кедровые орехи, курили махру в козьих ножках. Козьи ножки научил крутить Звонов. Раз даже на суточном отдыхе, в дивизионном резерве, пельмени соорудили.

Три дня, не отдыхая, дрались с поляками. Батальон пядь за пядью теснил врага к дальнему лесу. Зарываясь в песках и прячась в жидких кустарниках, под жестоким огнем, преодолевали уже третий день сухую, почти лишенную растительности лощину. Лощину эту все «рыжей» прозвали.

К вечеру третьего дня было получено приказание овладеть во что бы то ни стало высотой 94,07, дальним лесом и деревней Нача.

Командиры и коммунисты собрались около комбата.

— Ночь на отдых. Пришла одна рота подкрепления. К рассвету прибудет полковая пешая разведка. Чуть солнце — в бой двинем, по-настоящему, — коротко объявил комбат Звонов, подтвердив свои последние слова характерным жестом крепко сжатого кулака, как бы ставя крепкую точку.

Утром предстояло ползком, в перебежках, пройти большую «рыжую» лощину, пробиться на северный скат высоты и атаковать противника на участке пяти-шести верст.

Заместителем комбата назначен был комроты Соколихин, рота которого имела ударное направление.

Поляки чуть свет, словно предвидя наступление, открыли сильнейший огонь. Небо хмурилось. Безлюдная лощина рыжела ржавыми песками. Вырисовывающаяся в тумане высота 94,07 и дальний лес четко синели на фоне огромного пустыря. Было выгодно начать движение, прикрываясь туманом, низко висевшим над равниной огромными разорванными полосами.

Из-за дальнего леса начала бить артиллерия. Дозоры пешей разведки огнем щупали расположение врага. Телефонист, не отрывая уха от трубки, приняв приказ комбата, крикнул Соколихину: «В наступление!» и стал снимать аппарат. Серо-зеленая масса бойцов, расплываясь в тумане, двинулась вперед. Воздух разрезал отдаленный рокот красных «сопвичей»; скрытые туманом, они плыли от Славного под Ново-Борисов. За наступающими колоннами, конно, со звеном разведчиков, двигался комбат Звонов, держа перед глазами карту.

Передняя цепь вступила в непосредственное соприкосновение с польской пехотой. Наши взводы наслаивались на линии соприкосновения. Разгорался упорный бой.

Сейчас наша артиллерия била по дальнему лесу. Через пустырь со свистом летели снаряды. Насыщенная огнем и смертью полоса отделяла красноармейцев от края польской обороны. Огонь стал прямым. Позиция поляков была выгоднее нашей, цепи красноармейцев начали заметно редеть.

Пришлось поневоле откатиться и занять старый рубеж.

Тумана уже не было; разыгрывался день, ясный и солнечный. К Соколихину подполз комбат.

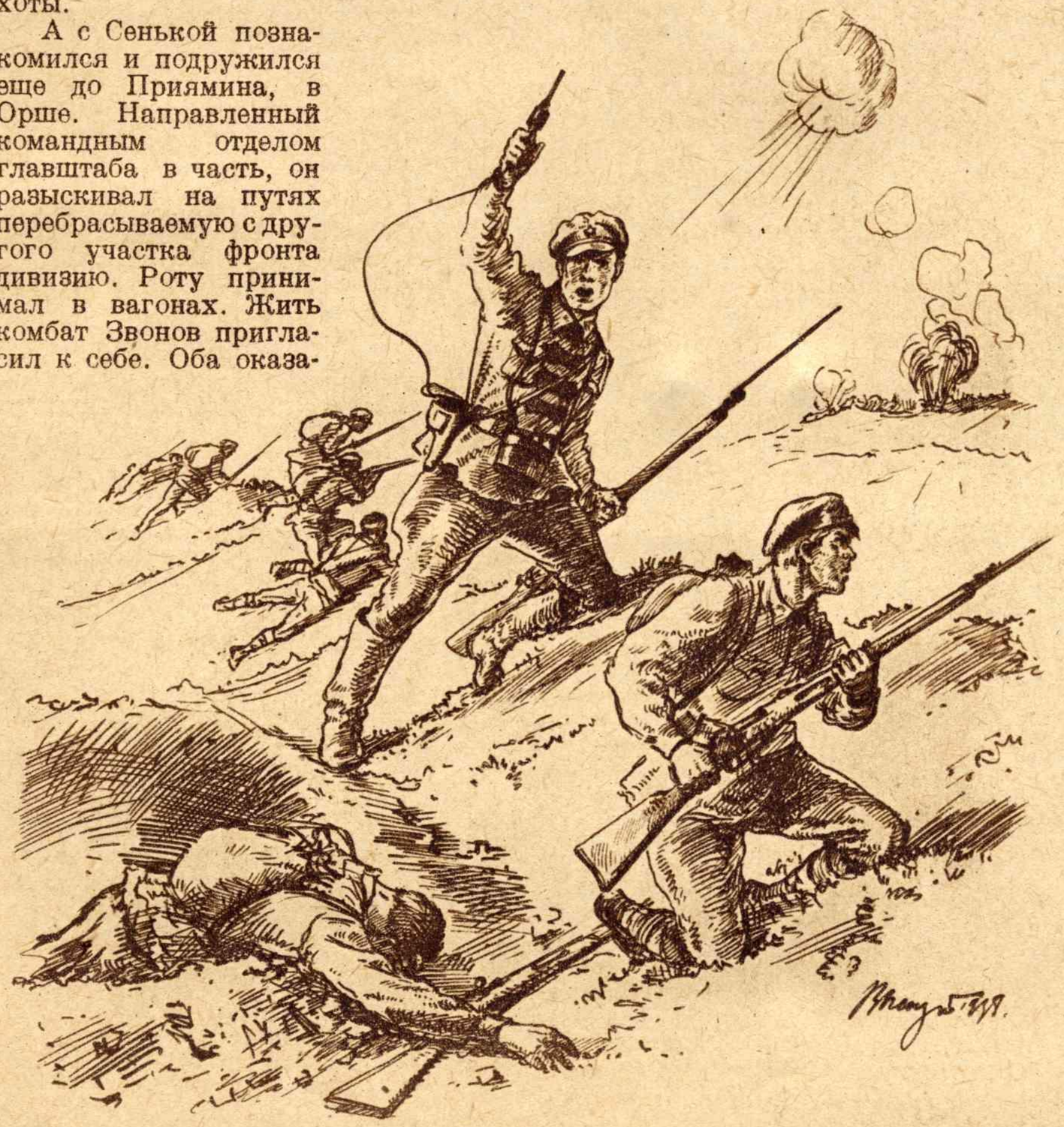
— Костя, во что бы то ни стало поляков надо выбить. Под заход солнца атаку повторим. Я решил все силы сосредоточить в большой батальонный кулак и ударить в центр обороны... Была — не была... Сам поведу. На скате горы подтяну всех и ударим.

— Есть, Сеня!

Артиллерия упорно продолжала бить по дальнему лесу. Под солнцем рыжая лощина становилась медно-красной. Потянул от дальнего леса ветерок.

На закате снова наступали. Атаке помогал эскадрон конницы. Но упорство обороняющегося врага сдерживало натиск красных. Оставался один выход для достижения цели — лобовая атака. Или лобовая атака, или снова отход. Задерживаться было тактически невозможно. Батальон был собран в кулак, поляки усиливали с каждой минутой обстрел. Тут-то и появился Звонов. Он, приподнявшись, подал команду: «Товарищи, в атаку!» Рота Соколихина шла за комбатом, команду подхватили остальные роты и командир кавалеристов. С винтовкой в руках бежал впереди Звонов. Батальон, как поток лавы, залил передний край обороны врага и, стремительно его опрокинув, погнал... Во фланг польских цепей, не успевших перегруппироваться, врубился эскадрон. Бой перешел в рукопашный.

Была занята высота, поляки покинули дальний лес.



Он, приподнявшись, подал команду: „Товарищи, в атаку!"

Звонов был тяжело ранен. На опушке леса под присмотром ротного санитара он лежал без сознания. Его отправляли на перевязочный. Молча простился с ним Соколихин. Состояние Звонова было явно безнадежным. Смахнув слезу, врид комбат Соколихин пошел к батальону отдавать приказ о новой атаке. К вечеру началось новое наступление, противника гнали к Борисову.

Через два дня в батальон пришло извещение о смерти Звонова. Соколихин украдкой плакал.

Это было 12 июня 1920 года.

---

8 июня 1920 года на перегоне между станциями Славное и Крупки воинский эшелон № 11.077, «Упр. красноармейских лавок Запфронта», потерпел крушение. Четыре десятка товарных вагонов лежали под откосом, дымясь и выворотив свои внутренности. В крушении погибло: сто двенадцать человек, в том числе одиннадцать женщин; лошади и товары для снабжения полевых красноармейских ларьков и чайных на миллионы рублей. Ведший поезд машинист Болеслав Смолкевич скрылся. Крушение произошло из-за того, что состав с недопустимой быстротой несся под уклон.

Была очевидна работа белопольских шпионов. Но вражеская рука несколько просчиталась, перепутав в составах боевую часть с тыловым учреждением, следовавшим к фронту.

Всю первую половину дня Соколихин ездил по городу, по делам своего предприятия. К четырем часам он решил заехать к Звонову, в учреждение, по адресу, данному соседом-пассажиром.

В Москве ему задерживаться больше двух-трех дней было никак нельзя, и он не хотел откладывать эту встречу.

Звонова в тресте не было. Оказалось, что в этот день вечером он должен был выехать в командировку, в Ростов-на-Дону. Вернется не раньше как через неделю.

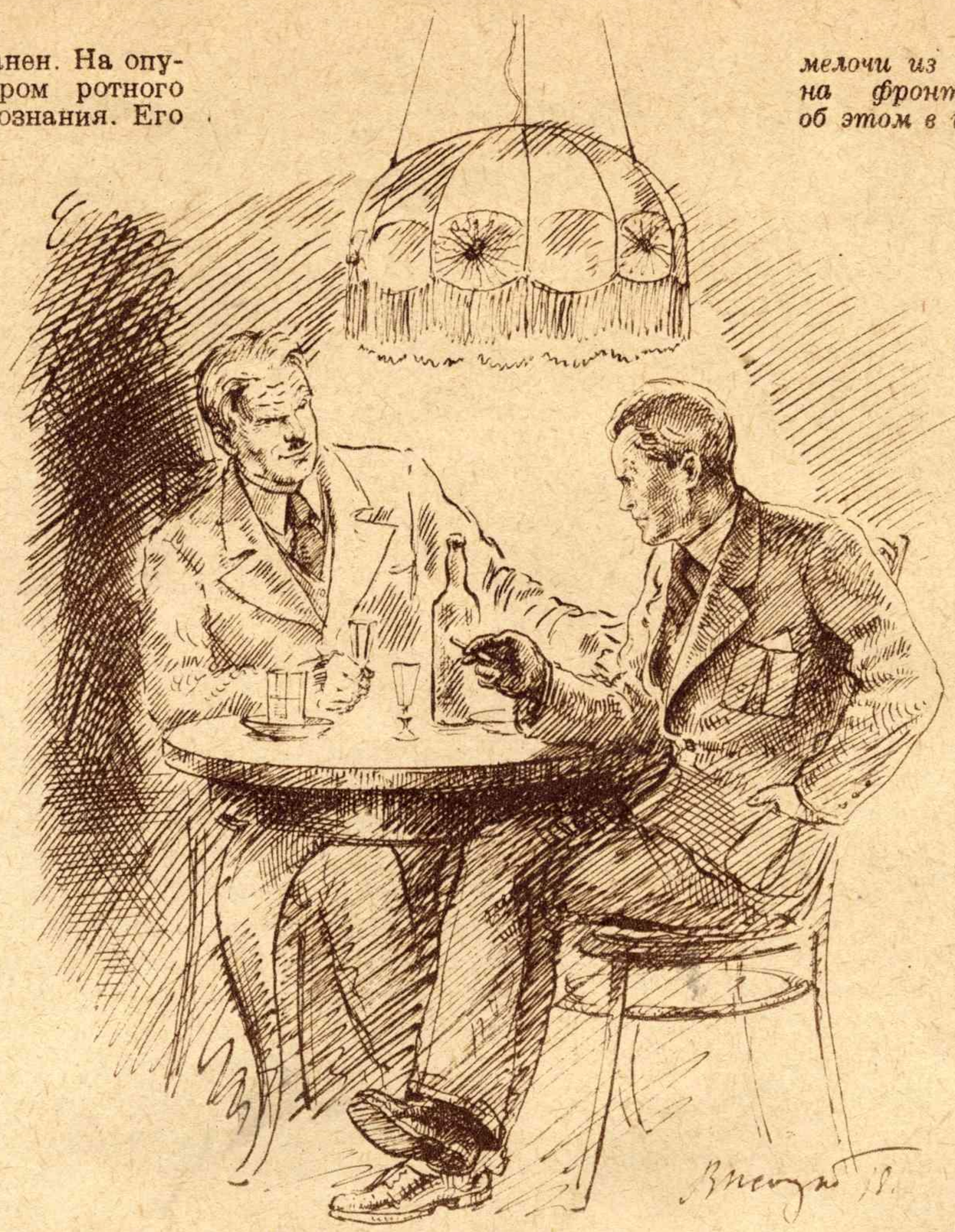
Соколихин поехал к Звонову на квартиру, но уже не застал его и оставил короткую записку.

Через два дня он выехал из Москвы.

Прошел ровно год. В 1937 году осенью Соколихину вновь довелось быть в Москве. Вечером он опять направился к Звонову, с волнением предвкушая радость встречи.

Встреча, однако, оказалась не такой, какою ее рисовал себе Соколихин, — сухая, официальная. Перед Соколихиным стоял человек и похожий на Звонова и чем-то весьма непохожий на него.

«Чорт возьми, как время изменило человека!» — думал Соколихин, с недоумением глядя на своего друга.



— А я уже забыл про тебя, Соколихин!

Звонов говорил:

— А я уж забыл про тебя, Соколихин. Записку твою в прошлом году прочитал и вспомнил. Ну, рассказывай...

За чаем и бутылкой вина разговор тоже как-то не клеился. А хотелось Соколихину о былом поговорить, душу отвести. Сидя за столом, он, украдкой, пристально всматривался в лицо Звонова и бормотал про себя: «Поразительно, как может измениться человек!»

Прощаясь, Звонов напомнил и о кедровых орехах, часто вспоминаемых на фронте, и о неудачных пельменях и еще о некоторых деталях их боевой жизни.

Машина, вызванная Звоновым, отвезла Соколихина в гостиницу. По дороге Соколихин продолжал думать: «Вот, ведь, человек-то переменился, а о фронтовых мелочах до сих пор помнит... А все-таки, что-то не то...»

В гостинице Соколихина ждала телеграмма от его заместителя, требовавшая по неотложным обстоятельствам возвращения Соколихина на завод. Соколихин решил на другой день выехать.

Эту ночь, после встречи со Звоновым, он также не спал, как и год назад, подъезжая к Москве, в предвидении встречи с ним.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Гр-на Соколихина Константина, директора Механико-сборочного завода в гор. . . . . .

. . . . . все же личность эта вызвала у меня сомнение и, несмотря на приведенные им с поразительной точностью. мелочи из нашей совместной жизни на фронте, вынужден поставить об этом в известность органы НКВД.

Главным поводом к подозрению явилось следующее: 1) я вспомнил, что через два дня после того, как унесли Звонова на перевязочный, из бригадного лазарета пришло сообщение о его смерти; 2) что в 1920 году Звонов говорил с чисто русским произношением, характерным для уроженца Сибири, а сейчас букву «л» выговаривает, как «в», что выдает в нем человека, родившегося и выросшего в Польше; еще будучи на польском фронте, я запомнил ухом сибиряка, впервые попавшего на Запад, эту особенность речи, часто встречающуюся даже у хорошо говорящих по-русски поляков. . . . . .

Выдержка из описи изъятых при обыске вещей и предметов, принадлежащих Звонову Семену Николаевичу.

Записная книжка комбата... стрелкового полка товарища Звонова Семена Николаевича, а в ней в давних записях упомянуто: «о комроты Соколихине Константине, о часто вспоминаемых кедровых орехах, о пельменях, которые варили Звонов и Соколихин 4 июня 1920 года, причем в книжке записано, что пельмени получились неудачными — расклеились...»

Книга Э. Т. А. Гофман «Повести и новеллы», изд. Скирмунта — 1897 года, в этой книге на странице 147 надпись, полустершаяся, мелкая, едва заметная — «Б. Смолкевич».

Фотография красного командира времен гражданской войны, оказавшаяся впоследствии снимком комроты Соколихина . . . . . .

Выдержка из протокола допроса Звонова Семена Николаевича.

Мое настоящее имя Смолкевич Болеслав. . . . . .

. . . . . после совершенного мною крушения на перегоне Славное — Крупки я направился к фронту. По дороге я убил отставшего от своей части красноармейца. Взял его документы и одежду. Он оказался санитаром 1012 полевого подвижного госпиталя. В этот же день с документами санитара, отставшего от своей части, я был этапом прикомандирован к перевязочному отряду N стр. бригады. Через сутки после этого в лазарет был доставлен умерший в пути от ран командир. Увидел его я случайно. Мне буквально везло. Было нетрудно заметить некоторое сходство между лицом мертвого командира и моим. Без труда я овладел документами и партбилетом мертвеца. В эту же ночь я покинул перевязочный отряд и, устроив себе «тяжелое» ранение, через эвакопункт попал в Москву. . . . . .

Из записок пограничник

Кл. Кра-вой

Так и живи — всей мощью чувств и сил,
А за любовь, за радость — я ручаюсь.
Я встал, сготовил чай горячий, к чаю
Нарезал хлеба, сладко закусил
И вышел в ночь.
Тяжелые полотна
Недобрых туч повисли надо мной.
Вдоль просек сосны тихо и дремотно,
Теснясь и греясь,
Шли ко мне толпой,
Под низким небом неуютной ночи
Им зябко было.
Ветер, как щенок
Повизгивая, из кустов наскочит
И, обессилев, падает у ног.
Со мной шагает мой старинный спутник,
Мой верный Крузо. Я хочу — о нем,
Чтоб знали все. Он зря ногой не ступит,
Не поведет ушами. С ним вдвоем
Проходим мы, не торопясь, как дома.
Мне каждый куст и каждый пень знакомы,
Я назову какой угодно звук:
Упал сучок, проснулись горностаи,
С дрожащих сосен старый снег спадает,
Лиса зовет невидимых подруг.

*

Спит начальник заставы
И видит —
Как тысячи плит,
Тучи виснут и виснут,
Лес шумит и шумит.
По обсохшему телу
Проходят горячие волны.
Три часа до утра,
Темных, теплых и полных.
Хорошо растянуться
В это время, в качаньи
Сновидений, в безмолвьи,
Товарищ начальник.
Он облазил участок,
Проверил кусты и следы,
И принес в сапогах
Десять фунтов воды.
Он сказал нам:
— Идите,
Дремучее небо теперь.
Ни кустам и ни пням —
Только глазу и сердцу верь.

Остальное, надеюсь,
Вы знаете сами.
Спи, товарищ начальник,
Остальное мы знаем.

*

Я осторожно вышел на поляну.
Снег бросился ко мне
С восторгом, с визгом. В исступленьи, мутный,
Он шел, дрожа. Повертывался круто,
Сжимал глаза мне, бился и стонал.
Что здесь увидишь? Долго, протирая
Глаза перчаткой, я стоял, не зная,
Как выстоять под судорогой белой,
Мне ждать нельзя, мне надо дело делать,
Итти мне надо. Я пошел. И тут
Пяти шагов я не успел шагнуть,
Передо мной, в просветах бури, встал
Нанос. Тяжелый, неуклюжий вал.
Я шел к нему, а он маячил сонно,
Весь равнодушный и согбенный весь.
Был неподвижен он. На месте ровном.
Таких я в детстве вылеплял. Но здесь...
— Вот это — да! — сказал себе я. — Номер!
Откуда? Не было здесь ни куста.
Гляжу на Крузо. Это мой барометр.

Он поднимает голову
Я стал глядеть. Поп
Ускорил шаг. Я побе
Недвижимо стоявши
Массивный, снежный
Тронулся бугор.
Спит начальни
Ноги выпрямил
Лес во сне, на
Шумит и шум
Сновиденья ка
Шум все ближ
И быстро
Все обрушилос
Выстрел?
И проснулся н
Заметается с
Не видать ни
Заяц кружитс
Ищет чего-то,
Перепуганный
Любое из двух
Или мчись, ка
Прямо в зубы
Иль ложись, д
И помирай.
Елки все в кру
Их заносит, з
Кругом.
Ветер тычетс
И сопит.
И начальник з
А Крузо выпря
От странно д
Не отрывается
И тянет, тян
И я пускаю.

Иван РОГОВ

...ом пошел. Потом
...жал бегом.
...й до сих пор

...к заставы.
... Спит.
...яву ли
...т.
...аются,
...е.

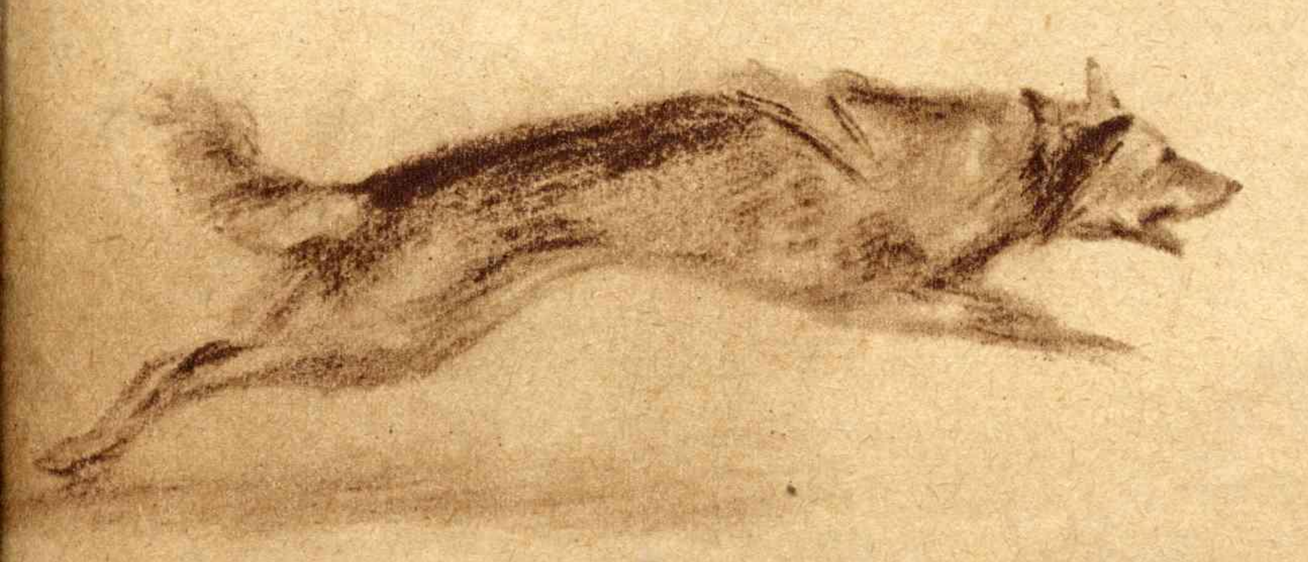
... Что это,

...чальник заставы. Черта
...егом,
...ерта.
..., кружится,
...косится,
...асмерть.
...выбирай:
... снежинка,
...исице,
... на месте

...севах.
...носит, заносит

... в снег

...ставы не спит.
...ился. Тонким носом
...жущегося наноса
... дрожит и ждет.
...т, тянется вперед.



Он
С наскока,
Во всей летящей, яростной красе,
Последний раз взметнув себя высоко,
Не оглянувшись,
Рухнул в снег.
Ах, вот как, смертоносный человек!
Я пошатнулся. Под моим огнем
И память не осталась бы о нем!
Но я не выстрелил. Вот он уходит!
Вот он бежит, а мой курок на взводе,
Патрон в патроннике, приклад в плече,
Рука в жару — не остудить ничем,
А он уже в метелицу уходит...
Но я не выстрелил.
Нет, это — мало.
Я взять решил во что бы то ни стало
Живым.
Метель наскакивала вдруг.
Она рыдала и шаталась,
Сворачивала,
Замыкала круг.
Сухой валежник
На моей дороге
Из-под рассвета вылезал кругом,
Цеплялся, путался,
Из снега ноги
Вытаскивал я с листьями и мхом.
Я вымокал и тяжелел. Портянки
Сочились и визжали.
А во рту,
Как в Кара-Куме, высохло,
И жаркий
Язык тянулся к мокрому листу.
Метались пни,
Кидались в ноги елки,
Тупыми сучьями лицо секло.
А мы бежали. Мы бежали.
Сколько —
Не знал,
Не помнил.
Тихо.
День.
Светло.
Он делает за сосны круг, и кру́гом
К границе хочет. А его и вьюга
Уже отпела.
Все его пути
Измерены. Обратно не уйти.
И за сосной,— за сумрачной, за снежной
Он выхватил последнюю надежду.
Следы от пуль смотрел я после,
Криво
Прочерченные на пеньках сухих.
А тут я видел только суетливый
Конец
Ко мне направленной руки.
Что в это время было сердцу слышно,
Что думалось,— рассказывать излишне.
Замечу только:
Никогда под пулей
Движений лишних не производи.
Сожми всю ярость, гнев смири и в гуле
Лови затишье
И вперед гляди.
Пусть пни визжат и крошатся кусками,
Пусть обреченною рукой пускает
Он очередь за очередью, но
Преступной пуле честный воздух тяжек,
Она у сердца моего не ляжет,
Ей здесь хозяйничать не суждено.
Но пусть и так,
Но пусть и так,—
Плутая,
Придет ко мне, и снег вокруг растает
От крови чистой, как заря,
И так
Он все равно, как заяц в огороде,
Метель не скроет,
Лес не загородит,
Он только выиграет лишний шаг.

А начальник заставы
Пробивается к нам
По невнятным выстрелам
И следам.
Их заносит, разносит,
Ни дорог нет, ни просек.
А навстречу кусты,
А навстречу кусты,
И кругом все кусты
Непроглядно густы.
Надо во-время, во-время, время...
Рывок!
А,
Вот Крузо лежит,
Поджидает его.
Он зовет его — Крузо!
Не поводит хвостом.
Он глядит и не верит:
Снег не тает на нем.
Он его ударяет прикладом!
Лежит.
И начальник заставы
Дальше бежит.

И мы бежали. Вдавливался лед
И открывал нам западни болот.
Наперерез шарахались кусты,
Все те же —
Сумрачны,
Снежны,
Густы.
Весь белый свет прокалывала хвоя.
А мы бежали,
Одиноко,
Двое,
Оглохшие,
Глотая струи ветра.
А на двадцать пятом километре
Я доложить начальнику заставы
Встал, как подобает, по уставу
И покачнулся, сел, не доложив,
Лишь указав на связанного — жив!

Г. КУБАНСКИЙ

Долг

Рис. И. Гринштейна

1

В третьем часу ночи Люси Бертран известили, что муж ее Жозеф, разгружая вагон с удобрениями, попал под скорый поезд и теперь лежит в помещении захолустной станции, где происходила разгрузка. Попросив соседку присмотреть за ребятами, Люси выскочила на улицу и побежала на станцию.

Жозеф Бертран лежал на черном кожаном диване, покрытом свежей простыней, принесенной из дома начальника станции. Около дивана стояли грузчики, товарищи Жозефа. Они молча наблюдали, как полуодетый общинный врач Поль Фоше резал холщевые брюки пострадавшего, пропитанные едкой костяной мукой. Обнажив изуродованную ногу, врач перехватил ее выше колена заранее приготовленным жгутом. Пригласив кивком одного из грузчиков помочь ему, он принялся затягивать петлю, внимательно наблюдая за постепенно опадающими черными струйками.

Пока Поль Фоше бинтовал ногу, грузчики терпеливо ожидали, что скажет им доктор. Это были хорошо подобранные крестьянские парни: широкоплечие, жилистые, с красными обветренными лицами и шершавыми руками. Неуклюже переминаясь, толпились они вокруг дивана. Каждый из них жадно следил за быстрыми движениями врача. Они чувствовали себя лишними в этой комнате, а уйти не могли. Стоны товарища заставляли их хмуриться, беспокойно теребить в руках запыленные шапки. Сильных, мужественных парней разбирала злость; они были беспомощны, ничем не могли облегчить страдания товарища.

Поль Фоше не обращал на них никакого внимания, пока не срезал всю верхнюю одежду Жозефа. Он боялся, что костяная мука вызовет заражение крови. Покончив с одеждой, врач обернулся к грузчикам.

— Будьте добры, протрите мне очки. Я ничего не вижу.

Грубые руки грузчиков торопливо протянулись к золотой оправе. Поль Фоше повертел головой, помогая им снять очки; потом, озираясь на Жозефа, лежащего с открытыми глазами, он тихо шепнул:

— Плох! Едва ли протянет до утра.

— Помогите, доктор!

Поль Фоше удрученно развел руками.

— Он потерял слишком много крови...

Закончить свою мысль ему не удалось. В комнату, широко распахнув двери, ворвалась Люси. Она задержалась у притолоки. Тишина поразила ее. Пошатываясь на дрожащих после быстрого бега ногах, молча подошла к мужу. Лицо ее, бескровное и вялое, казалось очень усталым. Крупные веснушки выделялись на нем жирными серыми пятнами. Жозеф отвернулся от жены, словно стыдясь того, что произошло с ним. Люси поняла, что надо успокоить мужа, и растерялась. Провела рукой по его влажному холодному лбу и слипшимся волосам.

— У тебя, Жозеф, голова не болит?

— Нет, — ответил он и в свою очередь хрипло спросил: — а как ребята, спят?

— Да, спят.

Люси смотрела в осунувшееся небритое лицо мужа, понимая, что так смотреть — пристально, не отрываясь — нельзя: это тревожит раненого... Она хотела заговорить с ним просто, утешить его и не могла найти ни одного нужного слова. В голове кружились обрывки мыслей. Воспоминания перемешались с тревогой за будущее мужа, семьи. И эту пустоту и отчаяние жены и матери неожиданно разбила громкая, циничная брань. Люси вздрогнула. Так забыться здесь, у постели умирающего, мог или злейший враг или близкий человек, друг, сознающий, что он ничем не может помочь гибнущему товарищу.

Люси вздрогнула и обернулась, отыскивая кого-то глазами. Она узнала голос Гастона Ришар.

Грубые руки грузчиков торопливо протянулись к золотой оправе.

2

Трудно сказать, что сблизило тихого, вечно озабоченного семьянина Жозефа с первым грубияном и задирой Гастоном Ришар. Окрестные крестьяне побаивались языка Гастона, грубого, по-своему острого, а еще более остерегались они его увесистых кулаков. Рассказывали, будто бы он, поспорив как-то на ярмарке, одним ударом кулака вывихнул челюсть лошади. Правда, сам Гастон не подтверждал этого, но и не отрицал. А его молчания было достаточно, чтобы все приняли сказку за быль.

Впрочем, за последнее время Гастону пришлось несколько остепениться. Господин Эйош — владелец большого поместья, — нанимая его, потребовал, чтобы он изменил свое поведение. В годы безработицы и кризиса приходилось принимать и худшие условия. Гастон обещал держать себя в руках. Назавтра он перебрался в старинный бретонский замок, гордо названный его владельцем «Ля тет де терр» («Голова земли»). И теперь крестьяне частенько встречали Гастона разъезжающим на мощном «паккарде» цвета спелой прованской вишни. Этот цвет был к лицу жене Антуана Эйош и ее единственному сыну, черноволосому, смуглому, с мягкими, как у девушки, очертаниями лица.

Повышение Гастона не помешало ему попрежнему часто бывать в семье Бертран. Он подолгу возился с ребятишками Жозефа, расхваливал Люси и сетовал на свое одиночество, хотя ничто не мешало ему обзавестись семьей.

— Я вернусь к тебе, Жозеф, — сказала Люси и быстро отошла к людям, обступившим Поля Фоше. Среди них виднелось и широколобое, упрямое лицо Гастона Ришар, с толстым носом и курчавыми, жесткими волосами.

Гастон Ришар стоял, широко расставив короткие, крепкие ноги. Его черные, горячие глаза уставились на Поля Фоше недоброжелательно, почти зло. Смущенный и растерявшийся врач объяснял обступившим его грузчикам, что спасти Жозефа может только немедленное переливание крови.

— Возьмите мою кровь! — торопливо предложила Люси и умолкла, заметив, как поспешно отвернулись от нее крепкие крестьянские парни.

Люси не знала, что все они наперебой предлагали свою кровь, но Поль Фоше только развел руками. Откуда у молодого врача, всего лишь месяц назад получившего диплом, могут быть инструменты и подготовка к такой операции? К тому же, он не хирург, а терапевт, специалист по внутренним болезням. До сих пор ему приходилось лечить только нарывы да желудки крестьянских ребят. Случай с Жозефом был первым в его практике.

Только теперь, повторяя свои объяснения, он догадался, что говорит с женой пострадавшего. Ее крупное скуластое лицо смущало врача. Широко открытые глаза женщины нервно блестели.

— Я не могу сказать, что ваш муж безнадежен... — тянул Поль Фоше, не решаясь открыть ей правду.

— Скажите, что делать? — почти крикнула Люси на маленького очкастого врача, в коротком белом халате и вязаной ночной шапочке.

Этот простой вопрос был для него страшен. Он ожидал его и боялся.

— Я уже говорил... — врач запнулся и кивнул в сторону понурых грузчиков. — Единственный человек в округе, кто может спасти его...

Поль Фоше смущенно покосился на черный диван.

— Кто? Кто? — Люси подошла к врачу так близко, что тот невольно отступил назад. — Да говорите же, чорт вас побери!

И она вцепилась обеими руками в белый халат врача с такой силой, что сухо треснула крепкая ткань.

— Профессор Ортон, — быстро ответил врач, стараясь оторвать от халата крепкие руки Люси. — Он живет в Шенье... Это добрых тридцать километров отсюда. И потом, он частнопрактикующий врач.

— Вы хотите сказать, что он откажется приехать? — насторожилась Люси.

Она готова была ехать куда угодно; готова была молить профессора, заклинать его жизнью мужа и счастьем своих детей. Люси не верила, не допускала мысли, что может найтись человек, который посмеет отказать детям в спасении отца.

— Я хочу сказать, — тщательно выбирая слова, поправил ее врач, — другое. Нельзя быть уверенным в том, что он приедет. Профессор Ортон принадлежит к числу тех врачей, которые собираются и приезжают на ночные вызовы тем скорее, чем больший гонорар их ожидает.

Люси энергично повернулась к грузчикам.

— Когда идет поезд в Шенье?

Ей ответили не сразу.

— Поезд в Шенье идет в семь двадцать утра.

Круглые стенные часы показывали четверть третьего.

3

У изголовья Жозефа осталась одна Люси. Остальные, боясь помешать ей проститься с мужем, отошли в дальний угол комнаты.

Что может быть тяжелее последних часов, проведенных у постели умирающего? Человек теряется перед лицом чужих страданий. Притупляются всякие чувства. Он сидит, не понимая ничего и не думая ни о чем. Он не в силах оторвать взгляд от белеющих пальцев и влажного рта с пересохшими, синеватыми губами.

За спиной Люси хлопала дверь. Кто-то входил и выходил из комнаты. Несколько раз врач нагибался к Жозефу и что-то спрашивал у него. А Люси сидела, напряженно выпрямив спину, внешне безучастная ко всему, что происходило вокруг нее.

Тяжелая теплая рука друга легла на голое плечо Люси. Она только слегка поежилась. Тогда кто-то бесцеремонно взял ее за подбородок и поднял голову. Это был Гастон Ришар в кожаной куртке, с поднятыми на лоб автомобильными очками. Он стоял решительный, уверенный в себе. И только по упругим желвакам челюстей да подергивающемуся веку Люси поняла, как волнуется Гастон.

— Не робей, старуха! Через час профессор будет здесь, — сказал он нарочито громко, чтобы слышал и Жозеф. — А вы, доктор, дайте-ка ему пока каких-нибудь порошков от малокровия.

Потом, уже тише, Гастон спросил врача:

Люси сидела, напряженно выпрямив спину, внешне безучастная ко всему, что происходило вокруг нее.

— Сколько он еще протянет? — и показал глазами на Жозефа.

— Часика два с половиной — три, не больше.

— Можете вы его чем-нибудь поддержать?

— У меня есть камфара, — оживился Поль Фоше, осматривая костюм Гастона. — Если профессор приедет во-время...

Гастон посмотрел на стенные часы.

— В четыре тридцать он будет здесь.

— Очень хорошо...

— Ребята! — перебил доктора Гастон, обращаясь к грузчикам. —Если сюда заявится мой управляющий и спросит, говорил ли я отсюда по телефону, отвечайте: да, говорил. А вот о чем и с кем я разговаривал, вы ничего не знаете. Понятно?

Не прощаясь ни с кем, Гастон направился к выходу.

Едва закрылась дверь за ним, как кто-то тоскливо произнес:

— Двадцать пять минут третьего.

4

В белом свете автомобильных фар песчаная дорога казалась покрытой снегом. По бокам губчатой, черной стеной стояли густые кусты. Впереди, в полосе яркого света, они были серебристые, словно неживые. Машина шла быстро: дорогу в Шенье Гастон знал отлично.

Гастон ехал встревоженный. Его беспокоило не только состояние Жозефа. Перед его глазами стояло недоверчивое лицо управляющего «Ля тет де терр» — Огюста Лили. Несколько раз он переспрашивал Гастона, зачем господин Франсуа вызывает машину в город в такую пору. И если б не ловко ввернутое Гастоном словцо о чаевых, обещанных шоферу молодым Эйош, едва ли удалось бы получить ключи от гаража. И теперь Гастон обдумывал все мелочи рискованного предприятия: как зайти к профессору, что сказать.

«Паккард» остановился у небольшого особняка, расположенного в густом фруктовом саду, огороженном кованой узорчатой решеткой. Сад кончался у двухэтажного дома с тускло освещенными окнами. Там помещалась частная клиника профессора Ортона. Гастон ощупью разыскал в темноте кнопку звонка. Подумав, он нажал ее резко и сильно, как человек, имеющий на это все права. Переждав немного, он позвонил еще раз, мелко и нервно.

К калитке, позвякивая ключами, спешил сторож в пальто, наброшенном поверх нижнего белья.

— Кто там?

— Проводите меня к профессору.

— Профессор спит.

— Я из замка «Ля тет де терр», шофер господина Эйош.

— Одну минуту. Я доложу профессору.

Сторож с уважением осмотрел внушительную фигуру Гастона, потом перевел взгляд на «паккард» и рысцой заспешил к дому.

Минут через пять Гастон постучался в кабинет профессора.

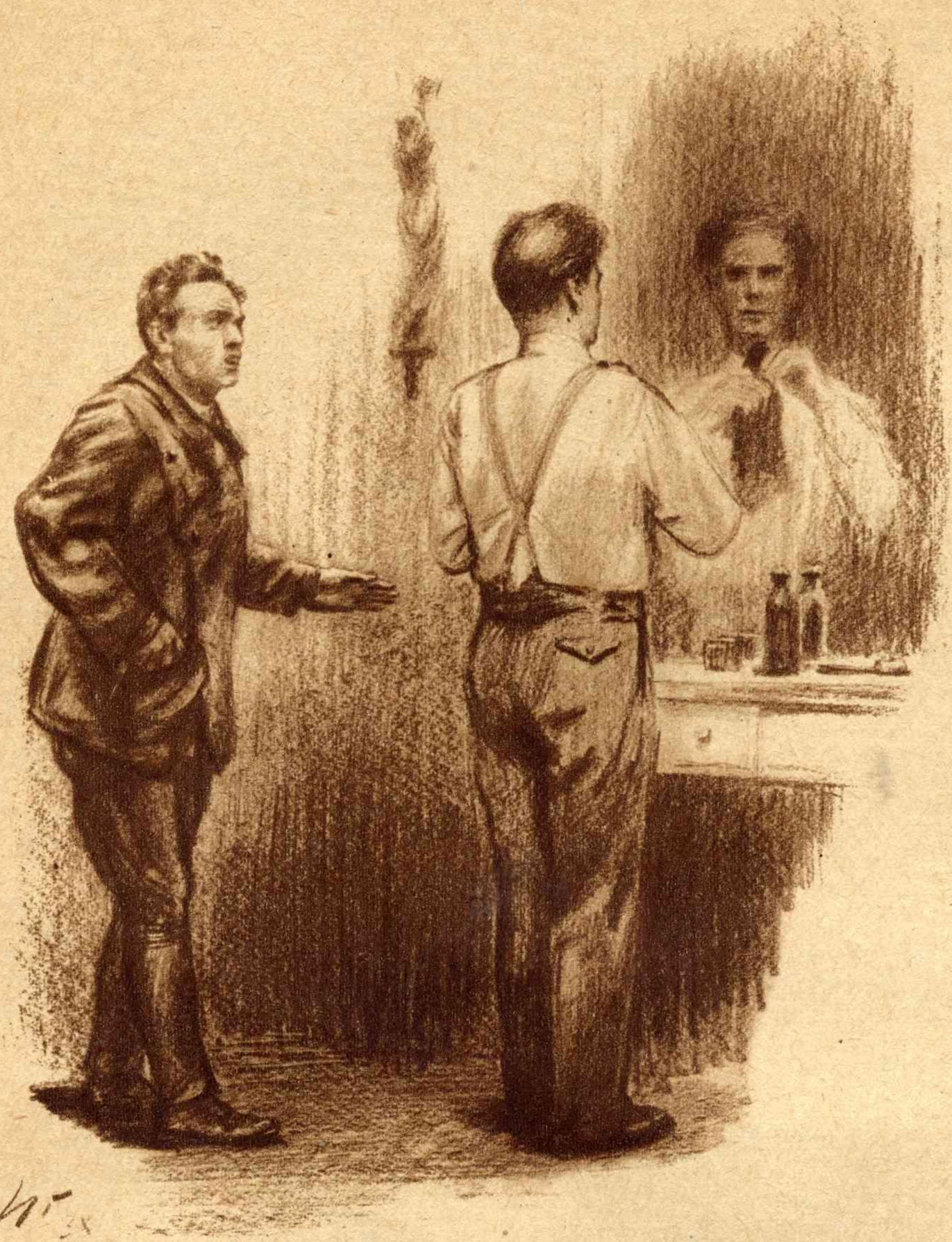
Профессор Ортон встретил его, торопливо застегивая подтяжки. Он был высок, строен и в то же время широк в плечах. В мягком голосе Ортона, в каждом его движении чувствовалась уверенность в своих силах, умение заставлять людей слушать себя и повиноваться. Особенно запомнились Гастону его руки — длинные, белые, холеные, с тщательно отшлифованными ногтями. Такие руки бывают у хороших музыкантов.

— Вы от господина Эйош? — спросил профессор. — Рассказывайте, пока я одеваюсь.

— Несчастный случай с сыном господина Эйош, — начал Гастон. — Он возвращался...

— Говорите покороче, — перебил профессор, поправляя галстук. —Что случилось?

Гастон рассказал все, что случилось ночью на захолустной станции, совершенно точно. Изменил он только одну подробность: вместо пострадавшего грузчика Жозефа Бертран он назвал другое имя — сына владельца



— Говорите покороче,—перебил профессор.—Что случилось?

поместья Франсуа Эйош. Гастон передал мнение общинного врача. Не забыл упомянуть он и о людях, готовых на месте предоставить свою кровь для переливания. Нехватает только специалиста.

— Доннеры мне не нужны, — сказал профессор, передавая Гастону банки с консервированной кровью и чемоданчик.

Сам же взял на руку плащ и заглянул еще раз в зеркало. Подтянутый, в безупречно белой сорочке и перчатках, направился Ортон к двери. Подхватив чемоданчик и банки, Гастон почти бегом пустился к автомобилю.

5

Грузчики толпились около двери, не зная, как убить время. Им нельзя было разговаривать, даже двигаться: скрип половиц мог потревожить Жозефа. Особенно связывали их сидящие у дивана Люси и врач. Стоило кому-либо шепнуть соседу несколько слов, как строгий взгляд врача немедленно прерывал беседу.

Время тянулось тягостно. Грузчики топтались на месте, посасывая незажженные трубки. Все чаще посматривали они на круглые деревянные часы. Было что-то около четырех, когда сквозь дощатую стену пробился легкий, далекий шум мотора. Торопливо оттирая друг друга от двери, высыпали грузчики на дощатый перрон и остановились в недоумении: вдали, в темноте, прыгал огонек ацетиленового фонаря. Скоро, вместо ожидаемого автомобиля с профессором, к деревянному настилу подкатила старенькая мотоциклетка управляющего поместьем Огюста Лили.

— Вы не видели здесь Гастона Ришар? — спросил Огюст, слезая с сиденья мотоцикла.

Сухощавый, высокий, он строго поочереди посмотрел в лицо каждого грузчика. Потом снова повторил свой вопрос.

— Видели, господин Огюст, — ответил кто-то из-за спин товарищей.

— Что он здесь делал? — спросил управляющий, стараясь в темноте разглядеть, кто ему отвечает.

Но теперь ему ответили сразу несколько человек:

— Этого мы не знаем.

— Гастон заглянул к нам и сразу ушел.

— Не разговаривал ли он с кем-нибудь по телефону?

Грузчики молчали. Они боялись неосторожным словом подогреть подозрение управляющего.

Огюст Лили повторил свой вопрос. И снова никто не ответил ему. Тогда управляющий оставил тон доброго знакомого и заговорил резко, как на допросе.

— Меня интересует: не упоминал ли Гастон имя Франсуа Эйош?

Поль Фоше вышел вперед.

— Прошу прощения, господин Огюст, но Гастон Ришар беседовал по телефону из соседней комнаты. Если мне не изменяет память, там в это время никого не было.

Грузчики дружно поддакнули ему.

— Конечно, мы все были около Жозефа — из дежурки никто не выходил.

Огюст Лили был раздражен не на шутку. Он забыл даже осведомиться о состоянии Жозефа, хотя уже знал о происшествии. Сейчас он хотел проверить свои подозрения. Как ни сдерживал себя Гастон, все же управляющий заметил по его лицу что-то неладное. Огюст Лили отозвал доктора от внимательно следивших за ним грузчиков.

— Господин Фоше! Как вы думаете, может ли сейчас Франсуа Эйош вызвать нашу машину в город?

— Весьма возможно, — учтиво поклонился доктор.

— Не понимаю, — пожал плечами управляющий. — Что может делать господин Франсуа ночью в такую пору в Шенье?

Поль Фоше уже понял, в чем дело, и теперь отвечал решительно:

— Приедет, объяснит сам, — равнодушно попыхивая папиросой, ответил он и в раздумье добавил: — Я слыхал, что Франсуа Эйош любит погулять.

— Он еще молод, — уклончиво ответил Огюст Лили.

Управляющий не любил, когда посторонние интересовались интимной жизнью его хозяев.

— Ну вот,—словно не замечая недовольства собеседника, закончил врач: — можно наверняка сказать, что Франсуа Эйош задержался в каком-нибудь веселом учреждении.

Управляющий только рукой махнул.

— У меня больше хлопот с семьей Эйош, чем со всеми арендаторами и рабочими, вместе взятыми.

И тут же спохватился, что сказал лишнее. Кивнув головой врачу и грузчикам, он спрыгнул с деревянного настила и сел на мотоциклетку.

Крохотный красный огонек, мигнув, скрылся за поворотом дороги.

Осторожно, стараясь тише шаркать неуклюжими сабо, вернулись грузчики на свои места. Попрежнему неподвижно сидела Люси у изголовья мужа.

Поль Фоше подошел к ним. Заметил, что она, не отрываясь, следит, как у Жозефа к уголкам губ сбегаются глубокие темные морщинки, а веки стали так прозрачны, что сквозь них отчетливо просвечивали черные зрачки...

«Паккард» зашуршал шинами у палисадника перед станционным домиком. Не успел еще Гастон выйти из автомобиля, как из темноты вышел низенький коренастый мужчина и схватил профессора за воротник.

— Стой, голубчик!

Профессор испуганно рванулся от него под слепящий свет автомобильных фар. Гастон узнал Огюста Лили. Схватив управляющего за плечи, он отшвырнул его в сторону от профессора.

— Проваливай, бродяга!

Бродяга! Слово это ошеломило управляющего. Его назвали бродягой! От гнева он заикался, слова не

мог произнести. В темноте казалось, что это бормочет пьяный. Гастон пропустил профессора вперед, в станционный палисадник, и решительно загородил дорогу Огюсту Лили:

— Назад!

— Я... бродяга! Ты обманул и...

Докончить фразу управляющему не пришлось. Гастон слегка качнулся и сильно, наваливаясь на руку всем телом, ударил его в челюсть.

Все пять пудов веса Гастона обрушились на искусственную челюсть Огюста Лили. Шумно икнув, управляющий рухнул навзничь. Так и остался он лежать на спине, широко раскинув руки.

Гастон нагнал встревоженного профессора и, вежливо взяв его под локоть, проворчал:

— Проклятые пьяницы! Ни днем, ни ночью нет от них покоя. Осторожно, здесь ступеньки.

6

Едва лишь в открытой двери появился профессор, а за ним и Гастон, как грузчики кинулись навстречу. Их остановило спокойное движение Ортона. Профессор осмотрел почтительно посторонившихся грузчиков и тихо спросил у Гастона Ришар:

— А где же сам господин Эйош?

— Сейчас узнаю.

Гастон подошел к Полю Фоше и быстро шепнул:

— Имейте в виду, пострадавший— сын владельца «Ля тет де терр», — и потом обернулся к профессору: — Доктор не решился известить господина Эйош о несчастии до вашего приезда.

Профессор осмотрел смущенного врача, затем перевел взгляд на решительные лица грузчиков и, не спрашивая больше ни о чем, принялся стаскивать перчатки.

— Освободите комнату от лишних людей, — сказал он, принимая от Гастона сак и банки с консервированной кровью.

Гастон выпроводил упирающихся грузчиков. Выходили они медленно, недоброжелательно посматривали на атласные отвороты профессорского сюртука, на его длинные холеные руки. Глядя на них, товарищи Жозефа вспоминали слова Поля Фоше: «Профессор Ортон приезжает на вызов тем скорее, чем больший гонорар его ожидает».

Но Гастон подталкивал их к двери.

— Идите, ребята, идите! Не медлите.

И так непривычен был для них просящий тон Гастона, его испуганные глаза, что они поддавались ему и один за другим скрывались за дверью.

Проводив грузчиков, Гастон подошел к профессору. Ортон успел уже переодеться в белый халат. Не оборачиваясь к шоферу, он сказал:

— Я просил освободить помещение от посторонних.

— От посторонних?

Гастон оглядел комнату и недоумевающе посмотрел на профессора.

— Это кто? — резко спросил Ортон и показал рукой на Люси.

— Служанка, — твердо ответил Гастон и спокойно посмотрел в большие серые глаза профессора. — Прикажете удалить ее?

—Я уже просил вас это сделать,— сказал Ортон и отвернулся.

Гастон подошел к Люси. Она ничего не слышала, не понимала того, что происходит за ее спиной. Люси видела только, как увеличиваются тени под глазами мужа, как бледнеют его полные губы. Густые черные усы казались на бледном лице не настоящими, приклеенными. Люси не могла отвести глаз от лица человека, который был так похож на ее здорового мужа. И только когда Гастон силою поднял Люси со стула и повернул ее к двери — слабую, покорную, — она поняла, что ее хотят увести отсюда, разлучить с умирающим.

Гастон почувствовал, как тело Люси сразу стало упругим, сильным.

— Не пойду! — хрипло сказала она. — Пусти!

И крепко ухватилась за спинку стула.

— Уходи, уходи! — горячо шептал ей на ухо Гастон. —Молчи! Ты все погубишь. Я привез профессора.

Люси рванулась от него. Она хотела броситься к профессору, сказать ему о себе, о детях. Ей все еще казалось, что никто, кроме нее, не сможет убедить другого, вызвать в нем сочувствие, если не к себе, так хотя бы к малышам.

Гастон крепко держал ее за руки, не давал сдвинуться с места.

— Что вы так возитесь? — обернулся к ним Ортон.

Люси увидела его лицо — строгое, недовольное — и попятилась назад. Гастон подхватил ее под руку и быстро проводил на перрон.

Плотно прикрыв за собою дверь, Гастон вернулся к постели Жозефа и познакомил профессора с начинающим общинным врачом.

Ортон, не подавая руки, слегка кивнул коллеге. Сделал он это вежливо и в то же время как-то небрежно, одновременно сунув ногой под диван кучу окровавленного тряпья и почерневших тампонов.

— Приступаем, — просто сказал профессор и обратился к Гастону. — Вы мне пока не нужны.

7

Гастон вышел из комнаты и жадно вдохнул свежий, предутренний воздух. На перроне его сразу же обступили грузчики.

— Проваливай, бродяга!

— Ну, как?

— Что там?

Гастон отмахнулся от расспросов.

— Скоро все узнаем.

И отошел в сторону. Заметив, что за ним никто не идет, он быстро направился к палисаднику, где недавно разделался с управляющим.

Огюста Лили на месте не оказалось.

Встревоженный Гастон старательно осматривал посыпанную белым песком дорожку, пока не услыхал тихий, приглушенный вой.

Огюст Лили сидел в измятой цветочной клумбе и тихо скулил, покачиваясь взад и вперед.

— Сиди тут! — пригрозил Гастон, потому что терять больше было нечего. — Если ты сунешься только на станцию, клянусь матерью моей — искалечу!

Огюст Лили поднял руку и, с трудом открывая рот, что-то невнятно прошамкал.

— Ну, сиди, сиди! — успокоил его Гастон. — Ты к нам не лезь, и я тебя бить не стану.

Убедившись, что управляющий вреда принести не может, Гастон отправился разыскивать Люси.

Люси сидела на краю перрона, свесив ноги вниз. Безучастно следила она, как бледнело вдали небо. На высоких кудрявых облачках появились нежные, как розовые лепестки, отблески подступающей зари. Гастон присел рядом. Ему хотелось поговорить с Люси. Начать беседу оказалось очень трудно. Утешать Гастон не умел, а завести речь о чем-либо постороннем ее горю не решался. Люси сгорбилась и походила на старую, измученную женщину. Под легким светом гаснущих предутренних звезд волосы ее временами казались седыми...

На перроне видны были только расплывчатые силуэты грузчиков. Время от времени красные огоньки трубок тускло озаряли их нахмуренные лица.

Гастон поднялся. Ему не сиделось на месте. Он подошел к двери и прислушался. Тишина. Иногда слышался спокойный голос профессора.

— Что он говорит? — спросил у Гастона один из грузчиков.

Гастон пожал плечами. Он сам хотел спросить то же самое.

— Как думаешь, Гастон, он выживет?

Гастон молчал. Молчал потому, что его тревожила тишина за дверью. Не такой представлял он себе операцию. Он ожидал крика, стонов. Тишина за дверью не нравилась ему.

Неожиданно громко скрипнула дверь. В светлом квадрате показался профессор. За ним — Поль Фоше. Затем их заслонила широкая фигура Люси.

— Пострадавший нуждается в длительном уходе... — говорил профессор следовавшему за ним Полю Фоше и остановился.

На пути у него стоял Гастон Ришар.

— Прошу прощения, — твердо произнес Гастон, — но у нас вышло маленькое недоразумение. Вы спасли не сына господина Эйош, а нашего товарища, грузчика, отличного малого и отца двух замечательных ребят.

Профессор нервно теребил перчатки, не зная, как держать себя с Гастоном. Он все еще не мог забыть, как рухнул в палисаднике неизвестный под ударом коренастого, широкоплечего шофера. Ортон, повидимому, давно уже догадался обо всем, но молчал, чувствуя себя целиком во власти обступивших его горячих, здоровых парней. Последняя фраза Гастона: «Вы спасли отличного малого и отца двоих детей», помогла ему снова овладеть собой. Он мягко упрекнул Гастона:

— Напрасно вы занялись мистификацией. Как врач, я обязан помочь каждому, кто обращается ко мне. Это мой долг.

Профессор подумал, потом снял перчатку и церемонно пожал руки всем присутствующим, рассчитывая, что назавтра о его поступке напишет местная газета. В числе клиентов Ортона был и редактор газеты.

Поль Фоше незаметно отошел в сторону, чувствуя непреодолимую неприязнь к профессору, к его мягкой, холеной руке. Неожиданно он столкнулся с Гастоном Ришар.

— Легко вы отделались, — сказал врач. — Профессор, видимо, не станет жаловаться на вас.

— Не так легко, как вам кажется, — ответил Гастон. Помогите хозяйской собаке — Огюсту Лили. Он сидит за палисадником и воет над сломанной челюстью.

Они простились. Гастон занял свое место в машине. Она шла навстречу розовеющему небу, оставляя за собой спасенного Жозефа, довольных грузчиков, доктора, который разыскивал управляющего среди измятых цветов...

А Гастон вел машину к городу, стараясь не думать о завтрашнем дне: ему так не хотелось расставаться с этим замечательным «паккардом» цвета спелой прованской вишни.

— Пострадавший нуждается в длительном уходе,—говорил профессор.

Рис. Ардо

Николай МОСКВИН

ЗАПАДНАЯ ДВИНА

Фронт ушел далеко — белополяки откатились уже на Вильну. А на Западной Двине, близ фольварка «Мышицы» у деревянного, на козлах моста, построенного саперами месяц назад, — все еще находились красноармейцы-часовые.

— Тишь-то какая! — говорит Савелий Самосадов, присаживаясь на пенек у воды.

Хрупов Федор, длинноногий, костлявый, похаживает по мосту. Он подходит к Савелию, садится на траву рядом и, прислонив винтовку к плечу, достает из кармана кисет с махоркой.

Луна освещает противоположный плоский, пустой берег. Ни души, ни ветра, ни звука. Всплескивает порой только рыба в затененной лесом воде. Прилетит комар — смирный, не въедливый и, позвенев, пропадет.

— Одно название, что пост! — говорит Самосадов, раскуривая. — До поляка теперь скачи не доскачешь! Да и мост тоже — не дворец! Не железнодорожный, не на быках... Случись к весне ледоход — куда доски, куда бревна — прости прощай!..

— Ледохода не ждать! — отзывается Хрупов. — До льда еще все кончится... А мост свое возьмет!.. Артиллерию, сказывали, через себя пропустил, не екнул!.. А пехоту уж и без разговоров... Деревянный! Оно, дерево, тоже, как сказать... В книжке я читал — на Кавказе хаты из бревен есть — пятьсот лет стоят!.. Климат сухой...

— Это тоже какое дерево, — говорит Савелий. — У нас по деревне монашка ходила — кресты деревянные продавала. Маленький такой, черненький, пальцем колупнешь — дерево безусловно. А положишь в воду — тонет, как гвоздь.

— Тонет?

— Ей-богу!.. Старики говорят, кипарисы или можжевельник. А то и черный дуб мореный.

— Кипарис это в Крыму... — Хрупов, сорвав травинку, подносит ее к огоньку махорочной завертки: она чернеет, сворачивается. — У нас генерал в Завальной улице жил... ненужный такой генерал. Сидит у окна, орехи щипцами щелкает — больше дела ему нет. Рядом с ним на окне — кадушка, вроде как с елочкой... Кухарка его говорила: к и п а р и с — из Крыма вывезен.

— Не наше дерево, — Самосадов сползает с пенька и, обняв винтовку, приваливается на траву. Он молчит, теребя русые жесткие усы. — Анютка-то моя! — вдруг, улыбаясь, говорит он, — небось страху и дрожи сколько за меня приняла: убьет поляк, покалечит!... А мы вроде генерала твоего с орехами...

Сзади, из-за гущи деревьев, донеслись голоса, стук ложек о котелки, шум широко выплеснутой на землю воды... Вздохнула гармонь: кто-то брал ее на колени.

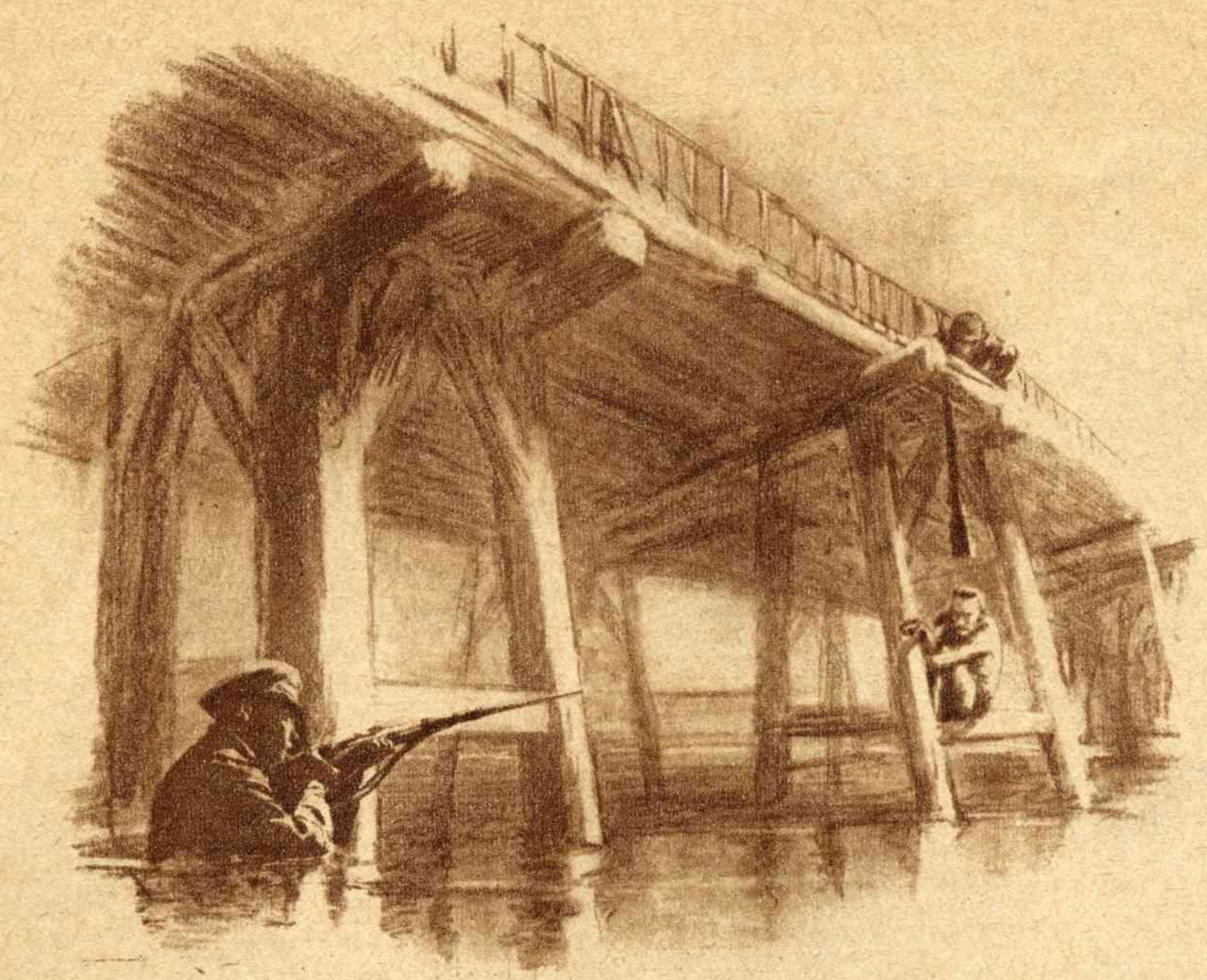
— Отужинали... — вяло говорит Савелий, — теперь скоро и смена нам.

И вспоминает, что сегодня сготовлено на ужин. К реке подкатывается мотив «Светит месяц». Федор Хрупов обертывается. Сквозь чащу листвы прорезывается огонек недалекого фольварка.

— Митька, опять мою гармонь взял! — ворчит Федор. — И чего пыжится? Что лопочет?.. Точно медведь на балалайке — ни души, ни правильности в игре нет!.. — Он на локте снова поворачивается к Савелию и некоторое время молчит. — Это верно... Как на даче мы, — возвращается он к прежнему. — У нас на дворе чиновница одна на дачу по летам съезжала. Я ей вещи перевозил. Вроде вот нас — чисто жили: река да сад, чай на берегу пили... Раздолье!..

Хрупов поднимается на ноги — сыро все-таки на траве — и, постояв, переложив из рук в руку винтовку, идет к мосту. До Савелия гулко доносятся его шаги по деревянному настилу. Он входит в лунный свет и, отшагав до дальнего конца моста, останавливается. Стоит серо-голубой, высокий. Блестит под луной металлическая пряжка на ремне. И идет обратно...

— Дача-то она дача, — говорит он, возвращаясь и присаживаясь на пенек, — а не берегут ли этот мост



Винтовка чуть поднимается, как копер над сваей, над головой человека.

для маневра какого-нибудь? Река тут излучину делает, места ровные, дорожные, а серьезные мосты далеко... Понимаешь?

Но пока он ходил, Самосадов, потревоженный его рассказом о чиновнице-дачнице, вспомнил далекое:

— К нам дачники наезжали, — начинает Савелий. — Как же, наезжали!... Из Кинешмы. Не смотрели, что тридцать верст! Воздух, говорят, хороший. Да грибы, да земляника с брусникой... А в Ужаме рыба своя... Что Кинешма! Из Костромы приезжали! В тысяча девятьсот одиннадцатом году — я мальчиком был — из Костромы барышни Прянишниковы приехали. Брат у них — Константин Петрович — студент. Во резвый был! Что выкидывал!? Вот, скажем, Ужама (Савелий, для наглядности, показывает на ночную безмолвную Двину). Тут мы, мальчишки, купаемся, а вот здесь, за бугром, за кустами — Прянишниковы барышни с подругами... Так... Купаемся... Вдруг ребята все на берег, на песок, к Константину Петровичу. Что такое? А Константин Петрович, оказывается, у куста притаился и паклю лохмами себе на затылок пристраивает. Потом бороду из мочалы на веревке... Глаза углем обведет... Уголь такой, на масле, от воды не сходит... Ну, страшно! Берет Константин Петрович в рот полый камыш — придумал тоже! — ныряет и под водой плывет к женскому купанью. Может, плывет, а может, пешком по дну идет — ему все равно: дышит через камыш. А на воде ничего нет. Плывет по воде стоймя камышинка — пойди, догадайся!.. А мы по берегу крадемся: что-то будет?.. А те, милые, купаются, как ни в чем не бывало... Камышинки не примечают... Вдруг вода раздается, и показывается голова водяного, а, может, утопленника! С пакли, с бороды ручейки текут, глазищами туда-сюда... Визг, крик — все на берег! А его уже нет — пропал... Мы тоже обратно. Тем же манером, с камышинкой, Константин Петрович к нам приплывает. Ну, мы не боимся — знаем. Однако, как опять голова из воды — хоть самим улепетывай! Константин Петрович вылезает, смеется: «Ничего, ничего, — говорит, — я от матери наказ имею, чтоб девчонки далеко не заплывали! Теперь не заплывут!» (Самосадов отваливается назад на локоть). Да-а, славная у нас река. Что вода, что берег...

— У нас река тоже ничего, — вставляет Хрупов, — фонари на мосту...

— И, что главное, — возвращаясь к своему, перебивает Самосадов, — барышни-то Прянишниковы знают, что это Костька их дурачится, а как голова из воды, как с мокрой пакли ручейки — ну, не могут, ну, никак!.. Визг!.. И вот, на-те ж — однажды сам Константин Петрович завизжал! Бежит как-то к нам по мелководью от женского купанья. Бежит согнувшись, и вот, плюется! Борода мочальная болтается. Одна там, ловкая, подстерегла его — видит, камышинка показалась... А у ней с собой припасено было. Взяла да тихонько в его камышинку, как в бутылку, и нацедила керосину... Хлебнул Константин Петрович аромату!... Да, хороши там у нас места! — помолчав, добавляет Самосадов. — Птица певчая, гриб, рыба... Вода в Ужаме, как стекло — насквозь.

— У нас река тоже ничего, — снова вставляет Федор, — по воскресеньям на лодках катаются... Весело...

Хрупов привирает: река в их неприглядном уездном городе — тухлая, разноцветная... Ситценабивная фабрика на берегу спускает в реку свои отработанные воды — плавает по реке радужный навар. Но ему тоже хочется вспомнить что-нибудь хорошее о своих родных местах — тоже о какой-нибудь ловкости, удали.

Луна подалась влево и выше. Свет ее упал на бревенчатые «козлы» моста, и решетчатая тень опустилась на воду. В фольварке уже приутихли, полегли спать. Огонек все еще держался в комнате дежурного.

— У нас тоже студент был, — начинает Хрупов, — мастера Алексея Никифоровича сын — Алексей Алексеич. Из подпольного кружка студент. Красавец. Брови черные. Румяный, как заря. Зимой он в Казань, в университет, а летом — к нам, в город, к отцу. Полиция на нем взгляд держала. Он в книжном магазине книги спрашивает, а уж тут чье-нибудь ухо просунулось: какими, дескать, книгами интересуется? Он письмо напишет, а уж там, где надо, его над паром подержат, распечатают — прочтут... В лес по грибы пойдет — а переодетый тут как тут — тоже вокруг него гриб собирает. По недогляду валуи да поганки в лукошко свое сует — ему, понятно, тех грибов не есть, ему бы узнать только: нет ли у Алексея Ксеича уговоренного сборища в лесу?... Случись к осени у нас на ситценабивной забастовка... Страшно жили... В фабричных казармах комнаты махонькие. И семь-девять душ с детьми вповалку спят... Чиж, щегол под потолком сидит в клетке, рот раскрывши — воздух ловит. Нету воздуху...

Самосадов плохо слушает: деревенское детство плывет перед ним. Он смотрит на ночную тихую Двину, на всплески рыбы на середине реки: точно бросили горячий уголек и круги, круги — серебряные обручи один за одним. Низко, царапнув уголком крыла воду, пронеслась полуночная птица. Взмыла над мостом и опять к воде. «Охотится!» — думает Самосадов. Тень от высокой, просвеченной луной сосны узорно и разлаписто протягивается до середины реки. Плывущий сучок скользит по узору, точно карандаш обводит контур. Сучок покинул тень и плывет по середине реки к мосту... Теперь он похож на ту — из далекого — Константина Петровича камышинку... Так же вот стоймя в воде и вперед, вперед...

— Савелий!

Самосадов вздрагивает от неожиданного и опасливо приглушенного окрика. Хрупова уже нет рядом. Он сидит на корточках у самой воды, держась за прибрежный куст, — голубеет рука, цепко ухватившая ком

кустарниковой листвы. Савелий, не понимая еще ничего, все же движется к нему — согнувшись, торопко.

— Чего?

Федор, не оглядываясь — все смотря на реку — протягивает назад ладонь, чтобы закрыть рот Савелия.

— Руку видел, — шепчет он, — рядом вот с этой палочкой... вишь, стоймя плывет!.. Руку видел...

— Ну, вот, руку...

Страх подступает к Савелию оттуда, из детства, из дремучих деревенских вечеров — утопленники, водяные...

— Ей богу! — все не отрываясь от реки, повторяет Федор, — взмахнула, и под воду!..

Не сговариваясь, они ползут на коленях к мосту. И под первыми досками берегового настила затихают. Палочка приближается к мосту. Савелий непокрытой головой касается теплых, нагретых за день-деньской досок. Пахнет опилками и сырой, затененной и днем, землей.

Из воды около средних «козлов» моста появляется голова. Оглядывается. Потом руки протягиваются к распорам «козла»... Полуголый человек подтягивается и садится на распор.

Легче теперь, проще... Темный страх детства отходит от Савелия. Все занимает свое место: Западная Двина, военный мост, красноармеец Савелий Самосадов, 23 лет от роду...

Хрупов уже вошел в воду. Вода поднимается по широким голенищам его сапог. Федор молча кивает Савелию влево и вверх. Самосадов понимает: «Ползи по мосту!»

Держа, чтобы не замочить, винтовку над собой, Хрупов крадется от «козла» к «козлу».

Савелий, переступая локтями, ползет на животе по доскам настила... Какие днем это были мирные, простые доски! В полдень проходила по мосту Ксюша в ладных полусапожках... Вот здесь она стояла — звала на подружкину свадьбу...

...Дальше уже Хрупову итти нельзя: ноги теряют речное дно. Он становится боком к ножному бревну «козла», выбрасывает вперед винтовку:

— Стой!

Тотчас в ответ—выстрел, и возле Федорова лица отлетает щепа.

— Бросай оружие!— снова кричит Хрупов и не узнает своего голоса.

Пуля вкалывается в бревно где-то над его головой. — «А, чорт! — шипит Хрупов.—Надо живьем взять!.. Живьем, Федор!» — повторяет он, точно уговаривая себя не торопиться со своей винтовкой. Он осторожно выглядывает из-за бревна: на голой мокрой коленке притаившегося под мостом человека жирно лежит лунный свет... Человек, сидя на распоре «козла», несообразно изогнут и скомкан: у колена рука с револьвером... Где же голова? Ах, вот она — почему-то тоже на уровне колена! Какая мишень! Хрупов бы уже не промазал, как этот голяк! Рука человека отделяется от колена — блестит металл. Федор уже хочет отвести свою голову под защиту бревна...

Сверху, с настила моста, бережно и осторожно спускается — прикладом вниз — винтовка (видимо, Савелий держит ее за штык). Она чуть поднимается, как копер над сваей, над головой скомканного человека и тотчас, будто свободно, падает вниз... Опять винтовка — копер медленно набирает высоту... (Савелий потом рассказывал: ему показалось, что он слабо стукнул по голове гостя и хотел повторить).

Но человеку под мостом уже не нужен второй удар: он сваливается с распора — тяжело, беспамятно.

По настилу уже грохают сапоги набежавших на выстрелы красноармейцев. Кто-то, резво сбросив одежду, падает в ночную лунную реку. Появляются веревки. Оглушенного гостя вылавливают, как общую добычу, — всем миром. Собирают все, что вокруг него, при нем. Опасливо, точно открытую кастрюлю с кипятком, несет командир охраны продолговатый сверток, накрепко увязанный в прорезиненную холстину. Он кладет сверток на берегу, в стороне, и приказывает красноармейцам не подходить к нему: правда, капсюль со шнуром еще не вставлен в заряд, но пироксилин — не игрушка для любопытных.

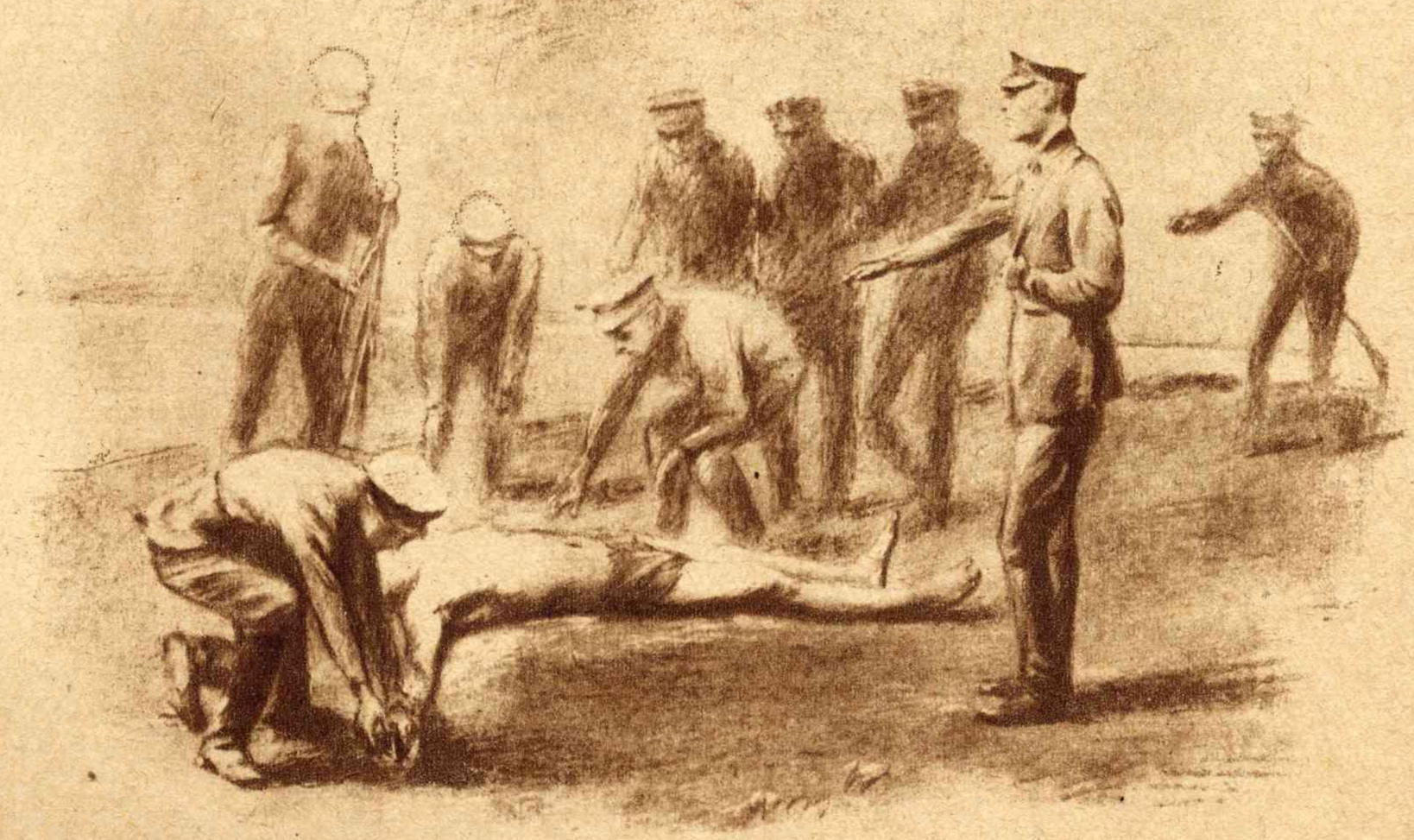
Полуголый человек лежит на берегу, раскинув руки. Намоченные в воде тонкие длинные усы прилипли к щекам. Чуть подергивая, у него вынимают из руки браунинг (он все держал его). Это легкое прикосновение беспокоит лежащего, он поворачивается на бок, приоткрывает глаза и недоуменно смотрит на руку. Командир решает, что пленник уже очнулся и приказывает вести его к фольварку. Но нет — он еще не поднимается на ноги. «Команду надо подать: «встать» и встанет!» — советует кто-то. Командир посылает на фольварк за носилками.

Красноармейцы, сидя на корточках, рассматривают его добро, разложенное на земле: свиток бикфордова шнура, плоскогубцы, складной ножик, спички в резиновом мешочке...

Самосадова не это интересует — он поднимает с земли полый, в поларшина длиной, камыш. Митька Угрешин — неладный музыкант на Хруповской гармонии — берет из его рук камыш, вертит, смотрит в дырку, словно в подзорную трубу, на луну (луна, как новый двугривенный, заслоняет все отверстие). Митька не понимает: зачем это? Самосадов отбирает у него камыш и подзывает Хрупова.

— Вот как она, жизнь, идет! — раздумчиво говорит он. — Одному человеку это трубочка-дудочка — баловство, а другой эту трубочку-дудочку уж для умысла своего приспособил! Круговерть!

И Савелий начинает рассказывать присевшим на землю дружкам о дачнике Константине Петровиче — о веселом студенте из тысяча девятьсот одиннадцатого года.



У него вынимают из руки браунинг.

С. БОРИСОВ

ПРАЗДНИК В ДЖУМГОЛЕ

Рис. С. Зелихмана

Всадники перешли вброд Чу. Вспугнув стайку чибисов, они выехали на каменистую тропу, извивавшуюся между желтыми кустами донника и серым колючим джерганаком. Вдали, волнистой грядой, горы упирались вершинами в синеющее вечернее небо. Иногда, тяжело переваливаясь, дорогу перебегал фазаний выводок или серые горные куропатки («кеклики» по-киргизски) пролетали над самой головой. Невидимое за горами солнце бросало свои лучи на одиноко вздымавшиеся снежные вершины, и они становились розовыми...

Всадников было трое: батальонный комиссар Назаров и красноармейцы Рахматулин и Шульга. Всадники ехали без оружия. Это обстоятельство внезапно обратило внимание Назарова и заставило вспомнить прошлое. Вернее, причиной того, что Назаров вспомнил о винтовке, явились фазаны — отяжелевшие от жира и с трудом взлетевшие из кустов джерганака.

Назаров был старший по возрасту. Его крепкий, чуть полнеющий корпус хорошо держался в седле. Лицо его, чисто выбритое, обветренное и загорелое под лучами тяньшаньского солнца, говорило о еще неутраченной силе. Вся его фигура выражала уверенность, спокойствие, свидетельствовавшее о значительном жизненном опыте. Но когда бритва долго не касалась бороды Назарова, то проступавшая щетина была серебристого цвета. Спутники его были значительно моложе. Всего лишь второй год красноармейская звезда украшала их фуражки. У Рахматулина круглое доброе татарское лицо с живыми черными глазами, которые часто становились чуть видны, когда он улыбался, — а улыбался он даже тогда, когда в этом не было необходимости. Коренастый и крепкий, на лошади он держался прочно, но в этой посадке сказывалась не кавалерийская школа, а приобретенное с детства умение чувствовать себя на лошади так же, как на коленях матери. Третий всадник — Шульга, донецкий шахтер. У него сочеталась молодость с размеренными движениями, резко очерченное лицо с внимательным взглядом карих глаз, чуть щуривших-ся — привычка, приобретенная в шахте, где при слабом свете лампочки приходилось зорко следить, чтобы удары обушка точно пришлись по нужному месту.

Рахматулин и Шульга с живым любопытством смотрели на лежавшую впереди дорогу на горы.

Только Назаров не испытывал чувства остроты, которое дает новизна, зрелище новых мест, необычайных и полных самых неожиданных впечатлений.

Они выехали на песчаную равнину — унылая желтая бесконечность с редкими бурыми пятнами травы. Горные орлы, широко распластав свои черные крылья, парили над равниной — повидимому, где-то валялась падаль.

С левой стороны показались желтые купола могильников. Некоторые из них были разрушены ветром и столетиями. Но среди них один хорошо сохранил свой сферический купол, ограду и четыре башни-минарета по углам. Только на единственной уцелел медный полумесяц. Птицы устраивали на нем привал — весь верх минарета был залеплен птичьим пометом. Под песчаной насыпью покоились останки родоначальника, род которого угас недавно. Об этом свидетельствовала относительная сохранность мавзолея.

Назаров остановил коня и сказал товарищам:

— Он остался таким же, каким был и десять лет назад.

Его спутники остановились и непонимающе смотрели на этот азиатский пейзаж — глубокая древность и покой, угнетающе действующий на людей, полных жизни. Казалось, что никакая мысль о радостях жизни здесь не может родиться.

Назаров предложил свернуть к могильнику.

— Я вам расскажу случай, который был здесь десять лет назад.

Рахматулин посмотрел на бледнеющую синеву неба и спросил:

— А засветло мы доедем до колхоза?

— Я эту дорогу помню, точно вчера только здесь был. Да и колхоз тут сразу за перевалом, — успокоил его Назаров.

Кони свернули на песчаное поле. Песок становился зыбучим, лошади шли, медленно вытаскивая копыта из песка, который, точно вода, сейчас же сливался, и следы всадников исчезали. Стало совсем тихо, даже цоканье копыт умолкло.

Шульга, опустив повод и раскуривая трубочку, меланхолически сказал:

— На такой земле жить труднее, чем умереть...

Всадники доехали до могильника и сошли с коней. За песчаной стеной осыпавшиеся могилы заросли колючим кустарником, и вход в мавзолей обвалился, только маленький портик держался на желтых колоннах, разрисованных голубой краской, не потускневшей за столетия ни от солнца, ни от зимних ненастий.

Всадников было трое...

Спутники с любопытством ожидали от Назарова рассказа. Пусть он, наконец, объяснит, зачем они подъехали к этому унылому месту. Назаров обошел могильник и остановился у южной башенки.

— Нашел... Здесь.

Рахматулин и Шульга подошли к нему. Назаров стоял у полуразрушенной могилы. Волки или другие хищники нашли здесь добычу. На песке белели человеческие кости.

Назаров снял фуражку и опустил голову.

— Это все, что осталось от моего друга...

Рахматулин и Шульга также сняли фуражки. Назаров сурово сказал:

— Это был большевик...

В наступившей тишине было слышно, как лошади грызли удила. Назаров молча стал приводить в порядок могилу. Рахматулин и Шульга помогали ему.

— Поехали. Мы еще вернемся и поставим здесь памятник.

До Саймонского перевала всадники ехали медленно. Начинался подъем. Назаров рассказал спутникам, что ему пришлось пережить десять лет назад...

Назаров в ожидании назначения находился в Москве. В партийном комитете он получил билет в Большой театр. Страна праздновала день десятилетия Красной Армии. С неба беспрерывно падал снег, казавшийся серебристым от электрических огней. По-особенному в Москве гудят трамваи в морозные дни. Назаров сошел на остановке против Большого театра. Через сквер с запорошенными деревьями к большому порталу с колоннадой спешило множество людей— рабочие, командиры, красноармейцы. Назаров сдал на вешалку шинель и смешался с гудящей толпой, заполнившей вестибюль. У него не было здесь знакомых, но он не чувствовал себя одиноким. Возникали разговоры, и у всех оказывались общие интересы. Все друг другу спешили сообщить:

— Сталин будет говорить речь...

Распахнулись двери в зрительный зал. Торжественно и празднично сиял зал тысячами огней, отраженных в хрустале люстр и позолоте лож. Красный бархат портьер, казалось, пламенел... У Назарова было место в последних рядах партера.

И когда умолк грохот аплодисментов и замерли последние аккорды «Интернационала», на озаренной трибуне появился Сталин... Тысячи глаз

— Я вас выведу другой дорогой,— сказал молодой киргиз.

командиров, бойцов и рабочих с любовью смотрели на родные и близкие черты вождя, с волнением ожидая, что скажет великий организатор побед социализма... Товарищ Сталин говорил об особенностях и задачах Красной Армии. Сталин говорил ясно, просто, и высказываемые им мысли были близки и понятны слушателям. Особенная интонация его тихого голоса, проникающая до самых глубин сознания, точно он обращался к каждому слушателю в отдельности, и его характерный жест — вытянутая правая рука с раскрытой ладонью, словно направляющая слова в самую гущу слушателей, запомнились Назарову на всю жизнь. Запомнилось и то, как был Сталин одет: в свою обычную тужурку и в мягкие, с низкими голенищами сапоги. Таким его знает мир по фотографиям и картинам.

Назаров торопливо записывал слова вождя в блокнот. Ему, Назарову, в скором времени предстояло отправиться в Среднюю Азию, и поэтому с особым вниманием он записал то место речи, в которой Сталин говорил, что Красная Армия является армией братства между народами нашей страны. Это — армия освобождения угнетенных народов, армия защиты свободы и независимости Советской страны. И все чувствовали глубокую правду этих слов. Так мог говорить вождь массам потому, что массы до конца ему доверяют, ибо Сталин живет и думает для масс. Все дни его жизни — от революционного подполья, через эпоху революций, годы организации Красной Армии и разгрома контрреволюций до великих побед социализма — отданы до последней минуты трудящимся...

И Рахматулин и Шульга, слушая рассказ Назарова, впервые позавидовали ему: он видел и слышал Сталина...

— Ничего, товарищи, и вы еще увидите и услышите нашего Сталина.

Назаров продолжал свой рассказ:

— Я прибыл в эти края. Здесь были горячие денечки. Шайки басмачей бродили в горах и бороться с ними было трудно, потому что местные кулаки — баи — их всячески поддерживали, а беднота была запугана баями... Националисты запугивали киргизов русскими красноармейцами, сравнивая их с царскими солдатами в 1916 году... Они говорили, что красноармейцы хотят их согнать с родной земли и насильно всех отправить на фабрики...

Дорога становилась круче. Лошади шли медленно. Посвежело — всадники приближались к вершине перевала. Внизу, в ущелье, змеилась речка. Чуть доносился рокот вспененной воды.

И Назаров развернул перед своими слушателями картины прошлого.

...Отряд получил сообщение, что басмаческая шайка Карабая собралась в горах на пути к Сусамырской долине, намеревается там захватить совхозный табун и вырезать работников совхоза. В отряде было десять человек бойцов, кроме Назарова и прибывшего из Ташкента Рубцова, рабочего-пропагандиста, который вел здесь революционную пропаганду еще до революции. Время близилось к ночи, и дорогу никто хорошо не знал. По пути встретились кибитки зимовки, но там ни души не оказалось. Во время привала неожиданно появился молодой киргиз и на ломаном русском языке стал убеждать Назарова, что за первым перевалом находится шайка басмачей. Они перебьют весь отряд из-за камней...

Назаров предупредил его.

—Ты не обманываешь? В случае чего — первая пуля тебе.

Он уверял, что сам убежал от басмачей и просил взять его в отряд проводником.

— Я вас выведу другой дорогой— прямо им в спину...

Рубцов сказал Назарову:

— Что-то я ему не доверяю... Глаза у него нечистые, так и бегают.

Дороги никто не знал, и решили взять с собой проводника, но не спускать с него глаз. Дорога всех измотала: карабкались через кручи, обходили нагромождение камней, лошади еле тащились... Ночь застала отряд в тесной лощине. Расположились на ночлег. Дежурные сменялись каждые полчаса. И когда рассвело и все проснулись, обнаружилось исчезновение проводника.

— Завел нас в западню, — угрюмо проговорил Рубцов.

Неприступные скалы закрывали со всех сторон лощину. Единственный выход — это вьючная тропа, по которой они сюда добрались. Назаров взял бойца и вышел на разведку, но как только они показались, из-за камней раздались выстрелы... Назаров расставил караул и наблюдателей. Яркое солнце взошло над горами, и скоро в лощине стало жарко. Воды поблизости не было. Так шли часы томительного ожидания. Камни раскалились от жары, и от сладкого медового запаха чебреца, росшего в расселинах, стало невыносимо душно. Неожиданно послышался шорох, перешедший в грохот. Осыпались камни с высокой, почти отвесной скалы. Назаров в бинокль ничего не мог заметить... Быть может, вспугнутые басмачами горные козлы — архары — бежали по кручам и сшибали камни. На высокой скале показалось два серых пятна — побольше и поменьше. Назаров передал Рубцову бинокль и вскинул винтовку.

— Подожди стрелять...

По скале спускались два человека. Цепляясь за выступы отвесной скалы, вися над бездной, ползли они... В бинокль их можно отличить — взрослый и подросток. Вот у подростка вырвался из-под ног камень, и он повис на выступе, охватив его руками и прижимаясь к нем грудью. Он болтал ногами и был беспомощен. Силы иссякнут, и он полетит вниз. Над выступом показалась фигура взрослого, видно, как он ползком подбирается и протягивает руки. Но на выступе так тесно, что они не могут развернуться. На этот раз страшная борьба за жизнь кончилась победой над бездной. Но путь еще долог, и скала отвесна.

— Это разведчики басмачей...

— Я думаю, — сказал Рубцов, — это пробираются к нам друзья.

Те, двое, продолжали ползти по ребру скалы. Теперь они четко выделялись на синеве неба. Наблюдать за ними стало невозможно. Лучи солнца ослепляли. Иногда они исчезали за обломками скалы, и появление их было внезапным. Это были пожилой киргиз с жидкой бороденкой на землистом лице и подросток лет десяти: Рубцов и Назаров направились к ним навстречу.

— Кто вы и откуда? — спросил Рубцов по-киргизски.

Киргиз усадил мальчика на камень и, приблизившись к Рубцову,

стал что-то возбужденно рассказывать. Назаров стоял в стороне и внимательно наблюдал за говорившими. Киргиз был в ветхом чапане, порыжелой войлочной шляпе и в рваных туфлях на босую ногу. Исхудалое лицо и огрубелые коричневые руки свидетельствовали, что он много работал и мало ел. Мальчишка был тощ, черен, одет в какую-то рванину и, раскрыв рот, уставился на висевший на ремне бинокль Назарова. Киргиз устало опустился на камень. Рубцов и Назаров отправились к бойцам. Все были на своих местах — сидели за камнями и не спускали глаз с тропинки.

Этот киргиз-пастух и его сын, узнав на Джайляу, что басмачи подослали под видом проводника своего сообщника, чтобы завлечь красноармейцев в западню, решились притти на помощь.

— Басмачи, — передавал Рубцов рассказ киргиза, — уже разделили наших коней и оружие...

— Ну, это еще посмотрим, — закричали бойцы.

— Они хотят взять нас измором, — продолжал Рубцов, — перестрелять поодиночке. Они знают, что у нас нет ни воды, ни пищи. Этот киргиз знает тропу, по которой он нас выведет из лощины.

— А он нас не обманет?

Большой обломок скалы, рухнувший еще на памяти кочевавших здесь киргизов, закрыл проход на тропу из ущелья. Бокомбай — так звали пастуха — из седельных ремней плел длинную веревку. Обмотав один конец вокруг себя, Бокомбай с ловкостью обезьяны полез на скалу. Перепрыгивая с уступа на уступ, рискуя осту-

По скале спускались два человека.

питься и сорваться на острые камни, он достиг верхней площадки и скрылся — осталась только повисшая веревка. Он снова показался и стал спускаться по веревке. Очутившись на земле, Бокомбай хитро подмигнул Рубцову.

— Айда!

Рубцов, посмотрев вверх и поплевав на ладони, полез. Оттуда он сбросил Назарову записку: «Оставляйте лошадей и перебирайтесь. Путь в долину открыт». Отряд перебрался и спустился по тропе к зеленой долине с извивавшейся по ней горной речкой.

— Вода!

Отряд заспешил, но Бокомбай предупредил Рубцова.

— За рекой — басмачи. Их около ста человек...

Бойцы ползли, прячась за камнями и кустарником. Вода, близкая, но недоступная, усиливала муки жажды... Пришлось залечь в прохладной траве. Многие грызли стебли, чтобы хоть немного освежить рот, в котором все пересохло, но даже попытка пошевелить растрескавшимся языком причиняла жестокую боль. Там, за рекой, расположились басмачи. Они сидели вокруг костров, и ветерок доносил до голодных бойцов раздражающий запах жареной баранины... Жажда была невыносима. Бокомбай отправил своего парнишку с котелком к реке. Он уже подполз к реке; неожиданно выскочили два басмача и ринулись к мальчику. Бокомбай хотел броситься на помощь, но его предупредил Рубцов. Выхватив маузер, Рубцов выстрелил. Басмач упал, но другой успел разрядить берданку, и Рубцов повалился на бок. Басмачи всполошились и бросились на конях к реке. Рубцов свалил выстрелом второго басмача. Разбрызгивая воду, басмачи мчались на другой берег. Рубцов слышал, как по траве перебирается отряд бойцов, и стрелял в наступавших. Он выбил трех басмачей из седел, и потерявшие всадников лошади запутались на реке, потеряли брод; поток понес их... Все басмачи сбились в кучу, и по этой куче давали залпы бойцы... Лошади напирали друг на друга, подстреленные басмачи летели с седел и запутывались в стременах, создавали затор, и беспорядочная стрельба басмачей не причинила вреда красноармейцам, косившим залпами врага... Уцелевшие басмачи повернули коней и бросились врассыпную.

Рубцов истекал кровью. Ему промыли рану, перевязали. Но он умирал — это было для всех очевидно... Он находился в сознании и пытался говорить:

— Товарищи... Помогайте киргизскому народу освободиться от баев и басмачей... Братство... Мы, большевики...

Началась агония.

— Похороните меня здесь, в песках...

Это были последние слова Рубцова.

За перевалом открылась Джумгольская долина. Там, внизу, у лощины, где серебрилась река, выстроился ряд белых домиков с окнами, которые лучи заката превратили в пламенеющие рубины.

— Знакомые места, — сказал Назаров и внезапно запнулся. — А где же кибитки кочевников?

Но и долина, и река, и лощина были такими же, как десять лет назад. Только вместо кибиток из земли и глины раскинулись белые домики, окруженные молодой порослью.

Назаров и его спутники ехали в Джумгольский колхоз на праздник — колхозный той — устроенный по случаю ухода молодых колхозников в Красную Армию. Спустившись, они увидели большое возделанное поле. Синие, желтые, белые, оранжевые цветы мака осыпали свои шелковистые лепестки и превратили дорогу в яркий туркестанский ковер.

Назаров остановил коня и пробормотал в нерешительности:

— Тут раньше жили кочевники, и никаких полей тут не было... Кажется, мы не той тропой спустились...

На дороге показался всадник, скакавший навстречу Назарову и его спутникам. Приблизившись, он закричал:

На дороге показался всадник.

— Айда сюда! Эй, товарищи...

К ним подъехал молодой киргиз на горячем вертлявом жеребце. Его послали для встречи гостей. Когда подъехали к белым домам — это и был Джумгольский колхоз, — прибывших встречало все население. На большом дворе правления колхоза дымились костры — в казанах варились целые бараны. Около казанов разостланы белые кошмы, накиданы груды подушек и одеял для сидения. Каждому участнику пира поставлены на белых полотенцах пиалы, большие и малые — для кумыса, чая, сурьпы... И когда шатер неба потемнел, словно опустился ниже, и зажглись бесчисленные тяньшаньские звезды, пир начался.

Шарибюб, жена председателя колхоза, поднялась с кошмы.

— Тише, Шарибюб будет говорить.

Женщина поправила свой белый головной убор, и вспышка костра озарила ее полное морщинистое лицо.

— У нашего народа, — начала она тихо, постепенно возвышая голос, — не было ни сегодняшнего дня, ни завтрашнего. Наш народ не имел даже своего имени... Теперь у нас есть родина, и ее имя Киргизстан... Теперь наш народ знает, что такое счастье... Кто нам помог завоевать счастье? Наши русские братья. Кто у нас хотел отнять наше счастье? Манапы, баи и их басмаческие банды. Кто нам помог прогнать этих волков? Большевики, приславшие нам на помощь красноармейцев. И вот у нас сегодня счастливый день — мы посылаем своих детей в Красную Армию, где их научат защищать счастье всех наших народов...

Никогда Шарибюб таких больших речей не говорила. Но во время шумных приветствий раздался конский топот, и в круг гостей, оставив коня у самой кошмы, вошел председатель колхоза с мешком гостинцев для угощения. Назаров пристально посмотрел на него и крикнул:

— Бокомбай!

— Джолдаш комиссар!

Старый киргиз стиснул сухими руками Назарова и, выпустив его, крикнул:

— Алы! Алы!

К ним подбежал молодой киргиз, встречавший Назарова и его спутников на дороге.

— Это мой сын, — толкнув юношу к Назарову, сказал Бокомбай, — он идет к вам в Красную Армию.

И когда все расселись по местам, Бокомбай начал рассказ о том, что было десять лет назад. Рахматулин и Шульга уже его слышали от Назарова, когда взбирались на Саймонский перевал. Это был тот самый пастух с сыном, который вывел отряд из каменной западни.

Лучшая партия X шахматного чемпионата СССР

Шахматная газета «64» установила хорошую традицию: для всех крупных турниров, происходящих в СССР, выделять специальный приз газеты за лучшую партию турнира.

Участники X шахматного чемпионата СССР представили на этот конкурс 24 партии! Судье конкурса, мастеру Н. Н. Рюмину, достался большой труд: разобрать «по косточкам» все эти партии и определить действительно лучшую из них.

Специальный приз присужден мастеру Украины А. М. Константинопольскому за его партию против ленинградского мастера И. Л. Рабиновича.

«Эта партия, — заявляет мастер Рюмин, — потребовала от Константинопольского много выдумки, расчета, сложных вариантов и проведена им смело и точно».

Приводим эту, действительно, превосходную партию с комментариями судьи конкурса.

СТАРОИНДИЙСКАЯ ЗАЩИТА

А. Константинопольский (белые)	*И. Рабинович* (черные)
1. Кg1—f3	Кg8—f6
2. c2—c4	g7—g6
3. b2—b3	Сf8—g7
4. Сc1—b2	d7—d6
5. d2—d4	0—0
6. g2—g3	Кb8—d7
7. Фd1—c2	Лf8—e8
8. Сf1—g2	e7—e5
9. 0—0	c7—c6
10. e2—e4	Фd8—c7
11. Кb1—d2	

К этому ходу Константинопольский дает такое примечание: «План белых — разбить черные центральные пешки ударом c4—c5, после чего обнаружится слабость черного поля d6, которое сможет занять конь d2».

11... Кf6—h5

Здесь конь занимает неудачную позицию. Правильно было 11...b6!

12. Лa1—d1 b7—b6
13. Лf1—e1 Кd7—f8

Черные не боятся c4—c5, недооценивая силу этого хода. Лучше 13... Сb7.

14. c4—c5!

Блестящий ход, потребовавший от белых далекого расчета.

14. ... d6 : c5

После 14... e : d 15. c : d Ф : d6 16. Кc4 Фc7 17. С : d4 белые получают богатую фигурную игру.

15. d4 : e5.

Только так белые могут доказать преимущество своей позиции. Пешка e5 сильно стесняет черных. Выиграть ее черные смогут лишь после размена чернопольного слона, а это ослабляет рокировку черного короля и дает белым шансы на атаку.

15. ... Сc8—a6

Предупреждая Кc4. Если сразу 14... Кd7, то 16. Кc4 Сa6 17. Кd6, Лe7 18. К : f7 Кр : f7 19. e6 +! с сильной атакой. Несколько лучше было 15... Сe6.

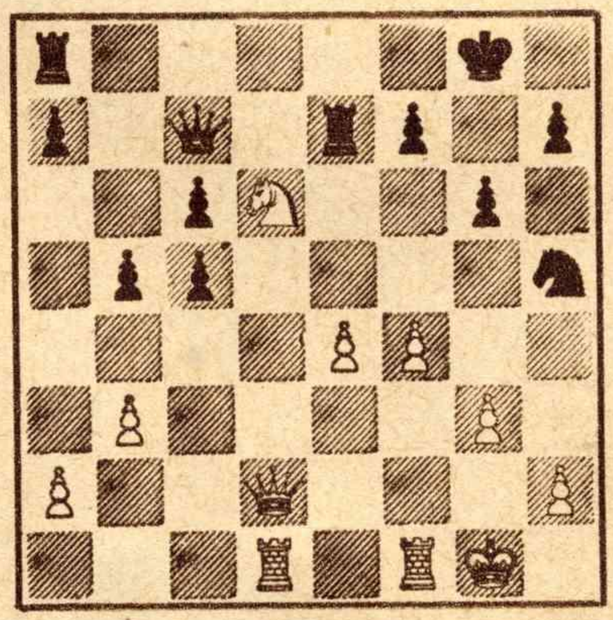
16. Сg2—f1 Сa6 : f1
17. Лe1 : f1 Кf8—d7

Черные играют на выигрыш пешки.

18. Кd2—c4 Лe8—e7
19. Фc2—d2 b6—b5

Необходимо: грозило g4.

20. Кc4—d6 Кd7 : e5



Положение после 23 хода черных.

21. Кf3 : e5 Сg7 : e5
22. Сb2 : e5 Лe6 : e5
23. f2—f4 Лe5—e7
24. f4—f5!

За пожертвованную пешку белые получили сильнейшую атаку. Ход в тексте форсирует события, в виду угрозы g4! и ведет к быстрой победе белых.

24. ... Лa8—d8

В расчете на 25 g4 (?) Кf6 26. g : f К : e4! и черные отбивают атаку.

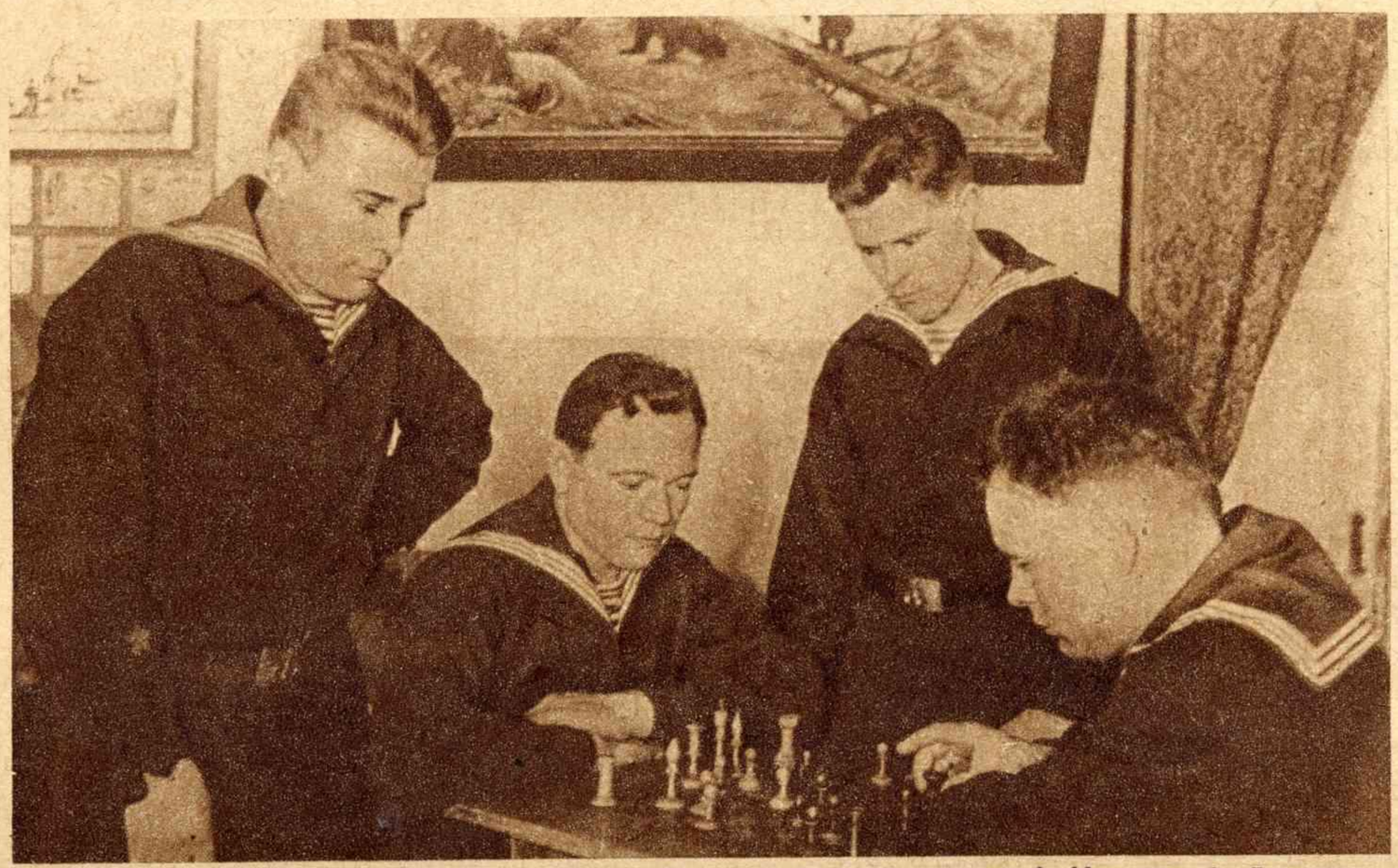
25. f5—f6 Лe7—e6

Плохо 25...Лed7 26. e5! с громадным преимуществом у белых. Лучшим шансом для черных было здесь 25... Л : e4. После 26. К : e4 Л : d2 27. Л : d2 h6 28. Лfd1 получалась позиция, в которой у белых 2 ладьи против ферзя и двух пешек. Однако, как доказывает в своем анализе Константинопольский, белые легко выигрывают. Основные варианты: I. 28... Фe5 29. Лd8 + Крh7 30. Лd8—d7! К : f6 31. К : f6 Ф : f6 32. Лf1 Фe6 33. Лf : f7 +Крg8 34. Лfe7 и белые выигрывают. II. 28... g5 29. Лd8 + Крh7 30. Лd8—d7! Фb6 31. g4! c4 + 32. Крf1 Фe3 33. g : h и белые выигрывают.

26. Кd6 : b5! Лd8 : d2
27. Кb5 : c7 Лe6—d6

Если 27... Л : d1, то 28. Л : d1 Л : f6 29. Лd8 + Крg7 30. Кe8 + и выигрывают.

28. Лd1 : d2 Лd6 : d2
29. g3—g4 Кh5 : f6
30. Лf1 : f6 Лd2 : a2
31. Лf6 : c6 Лa2—e2
32. Кc7—d5 Крg8—g7
33. Лc6 : c5 Лe2 : e4
34. h2—h3 Лe4—e5
35. b3—b4 h7—h5
36. g4 : h5 Лe5 : h5
37. Крg1—g2 Лh5—e5
38. Лc5—a5 Крg7—h6
39. Крg2—f3 f7—f5
40. Кd5—c7 Лe5—e4
41. b4—b5 Лe4—b4
42. Лa5 : a7 Лb4—b3 +
43. Крf3—f4 Черные сдались.



Краснофлотцы Амурской Краснознаменной военной флотилии тт. А. Иванов, А. Дроздов, М. Авдеев и Н. Матковский в ленинской каюте за шахматами.

Алехин принял вызов Флора

Наши читатели уже знают, что тотчас же по окончании матча на первенство мира между Эйве и Алехиным чехословацкий гросмейстер С. Флор вызвал последнего на матч.

Тогда Алехин не принял этого вызова, мотивируя свой отказ желанием сыграть матч в первую очередь с Капабланкой, с которым уже тогда велись переговоры об условиях матча.

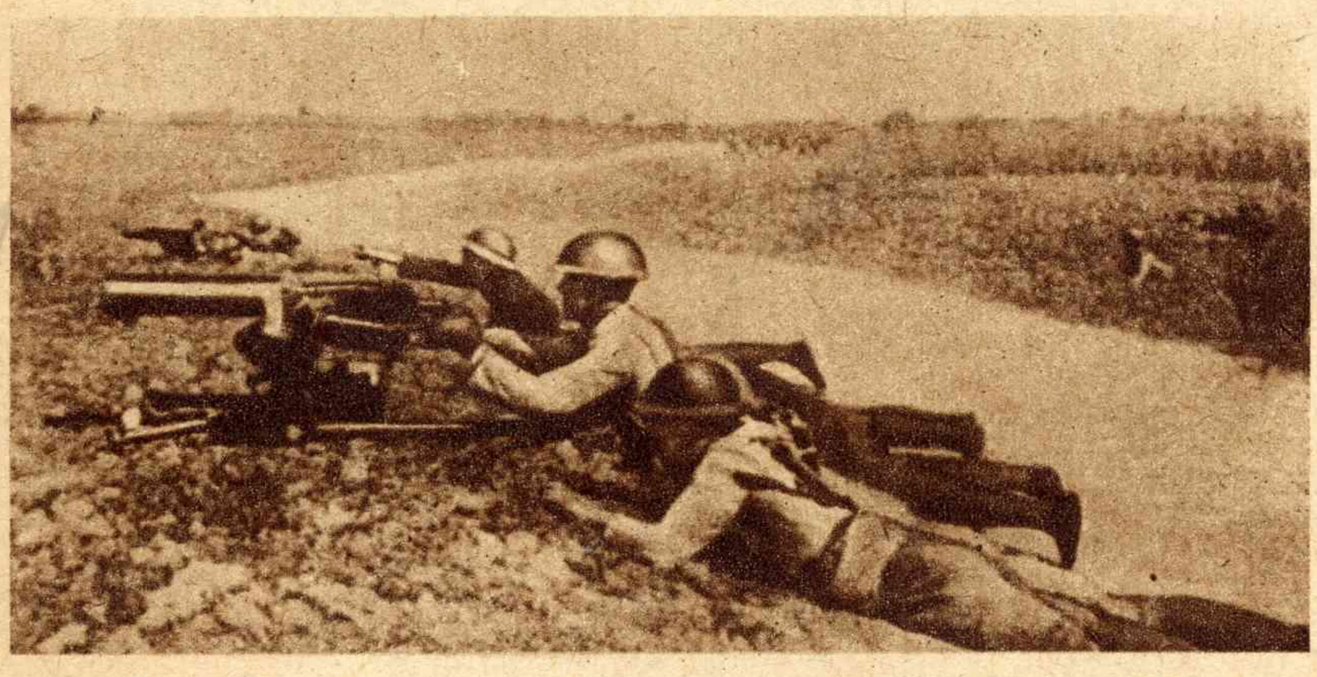
В настоящее время стало известным, что эти переговоры не привели к положительным результатам. После этого Флор повторил свой вызов Алехину, и последний принял его. Матч между ними должен состояться в 1939 году.

Флор заявил, что в настоящее время он занят выработкой программы своей тренировки к этому ответственному состязанию, чтобы явиться на него во всеоружии шахматных знаний. Он считает, в частности, что в оставшееся до матча время он должен упорно работать над изменением своего стиля. Такое решение правильно, ибо современный «ультра-позиционный» Флор особой опасности для Алехина не представляет.

Насколько это удастся молодому чехословацкому гросмейстеру, будет видно по результатам матча.

Героические гранатометчики Испанской республиканской армии на фронте.

Бойцы-связисты Испанской республиканской армии на позиции.



Китайские пулеметчики на позициях.

Молодежь республиканской Испании горячо откликнулась на призыв правительства о вступлении в ряды республиканской армии. На снимке: отряд молодых бойцов отправляется на фронт.

В Кантоне для китайских девушек организованы санитарные отряды, помогающие населению после бомбардировок японскими интервентами. На снимке: китайские девушки проходят обучение в санитарном отряде.

Редакционная коллегия Зав. редакцией Б. БОНДАРЕНКО Оформление Б. МАЛИШЕВСКОГО

Издатель Воениздат Адрес редакции: Москва, ул. Маркса—Энгельса, 17. Тел. К 4-71-16

Уполн. Главлита № Г-9377. 4 п. л. 320 000 знаков. Изд. № 249. Сдан в производство 7.5.38. Подписан к печати 23.5.38. Тираж 50 200 экз. Заказ № 2286

1-я Образцовая типография Огиза РСФСР треста «Полиграфкнига». Москва, Валовая, 28.

Цена 50 коп.

М3406

Фото Н. Сальмана